

A 521

но.

Б 836548



АЛТАЙ

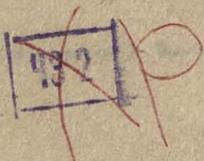
1923

3

Электронная библиотека



836548



Электронная библиотека «Голубая чашка».

А 521/17

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXVI

№ 3 (66) 1973

**ЭТА КНИГА АЛЬМАНАХА СОСТАВЛЕНА
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАЧИНАЮЩИХ АВТОРОВ—
УЧАСТНИКОВ КРАЕВОГО СЕМИНАРА
МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПРОХОДИВШЕГО ВЕСНОЙ
НЫНЕШНЕГО ГОДА В БАРНАУЛЕ**

В НОМЕРЕ:

Владимир БАШУНОВ. Заморозки. Осенний этюд с птицей и всадником. Отшельник. «Привычно к началу работы...». Старик. «И в наши дни живут размеры...» Стихи	3
Борис ЧЕРКУН. Цунами. Повесть	5
Владимир КОСАРЕЦКИЙ. Последний журавль. У реки. Октябрь. Морозным утром. Стихи	47
Евгений СКВОРЦОВ. Лирическое отступление из поэмы. «Вечереет и тоненько звякает стеклами вьюга...». «Спасибо, что ты стала не нужна...» Стихи	48
Борис СТУКАЧЕВ. Ищу собаку. Рассказ	49
Ольга АКИНЬШИНА. Утро в лесу. Начало зимы в деревне. Стихи	56
Леонид ЕРШОВ. Пушкин. Все в жизни проходит как будто. Ночные поезда. Ах, эта заячья охота. Стихи	57
Валерий ИЗВЕКОВ. Журавлиное лето. Рассказ	58
Валерий СЛОБОДЧИКОВ. Аз, буки, веди. Рассказ	63
Геннадий ЖИРОВ. Матери. Стихи	66
Николай БАЙБУЗА. Письмо. Август. Стихи	67

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

Геннадий ДАВЫДОВ. Маркуша. Медведи	68
Юрий КРЫЛОВ. Мельница. Десятка. Тайна	71

14
43-2

Геннадий ЧЕПЧУГОВ. «Мне забавное вечно по нраву...», «Тучка-летучка...» Стихи	73
Ирина КИРИЛЛОВА. «Мне не надо...», «Я — осока, я — травинка...» Стихи	74
Татьяна КУЗНЕЦОВА. Память. «Ах, кочевья! Ах, степи, степи...» Стихи	—
Игорь ВЬДРИН. Мой край. Старым большевикам	75

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Эльмира СВИРИДОВА. Степное. Очерк	76
Виктор СЛИПЕНЧУК. Истоки звонкоголосой Чуи	79

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Юрий МАЙОРОВ. Встречи за океаном.	82
-----------------------------------	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Борис ЮДАЛЕВИЧ. «Да» плюс «нет» Василия Шукшина	91
---	----

К столетию со дня рождения В. Я. Шишкова

Николай ЯНОВСКИЙ. Из ранних сибирских рассказов и очерков Вячеслава Шишкова	99
Вячеслав ШИШКОВ. Любителям красот и природы	103
Леопольд ЦЕСЮЛЕВИЧ. Художники книги. Статья	107

САТИРА И ЮМОР

Даниил СЕРЕБРЯНЫЙ. Подводные камни. Тепух. Страничка из дневника. Рассказы	111
--	-----

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Василий НЕЧУНАЕВ. Сказка о заводной лягушке	114
---	-----

836548

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

П. БОРОДКИН, Н. ДВОРЦОВ,
И. КАЗАНЦЕВ,
Л. КВИН (зам. гл. редактора),
И. КУДИНОВ (гл. редактор),
Г. ЛИСЕНКОВ, Ю. МАЙОРОВ,
Л. МЕРЗЛИКИН, В. СИДОРОВ,
М. ЮДАЛЕВИЧ (зам. гл. редактора)



АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1973, № 3

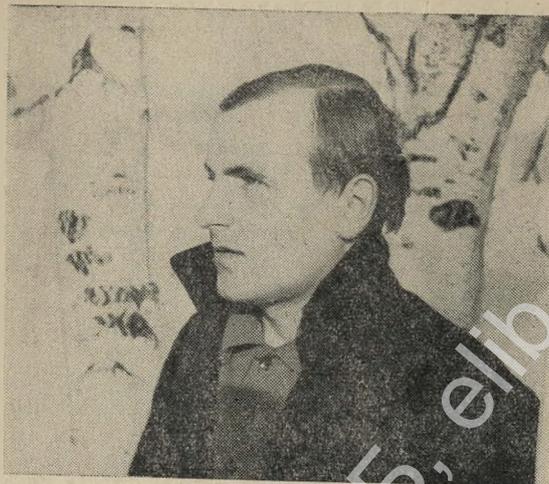
Художественный редактор Б. Лупачев. Технический редактор М. Сафонова.
Корректор Н. Тырышкина.

Рукописи не возвращаются.

Сдано в набор 6. VIII. 1973 г. Подписано к печати 17. IX. 1973 г. АГ 00227.
Формат 84×108/16. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 12,18. Уч.-изд. л. 12,08. Заказ № 1612.
Тираж 7000 экз. Цена 40 коп. Алтайское книжное издательство Государственного
Комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли — Барнаул, Ленина, 76. Типография № 1 Управления издательств, поли-
графии и книжной торговли крайисполкома — Барнаул, Л. Толстого, 29.

Адрес редакции: Барнаул, 56, пр. Ленина, 8. Телефон 95—4—21.

Родился и вырос в Турочаке, селе таежном и удивительном по своей красоте. Писать стихи начал со школьных лет. Печатался на Алтае, в Новосибирске, Алма-Ате, был участником третьего Всесоюзного фестиваля молодых поэтов. В 1970 году окончил литфак Барнаульского пединститута, в этом же году вышла первая книжка стихов — «Поляна». Служил в армии, сейчас живет в Ельцовке, работает в районной газете.



Владимир БАШУНОВ

ЗАМОРОЗКИ

Остыли теплые березы,
притихли щука и пескарь.
Первоосенние морозы
опережают календарь.

Смотрю, и видно мне далеко.
И видно мне, как все село
не мглой, но белой поволокой,
как бы фатою облекло.

Когда же выхожу на воздух,
вокруг меня и надо мной
пылают ледяные звезды,
и слышен шорох ледяной.

Звучнее голос раздается,
к зерну скликающий гусей.
Звучнее ведра у колодца
гремят над улицею всей.

И хорошо мне. Я скитаюсь
по переулкам допоздна.
А в памяти, перекликаясь,
звучат родные имена.

ОСЕННИЙ ЭТЮД С ПТИЦЕЙ И ВСАДНИКОМ

Присядешь на подоконник,
засмотришься... А вдали
скачет пурпурный конник,
долго летят журавли.

Легко посулит дорога,
легко увлечет она.
И все же не трогай, не трогай
птицу и скакуна.

Направо или налево —
рискнешь в пути любом.
Но истари так велело
отважное чувство — любовь.

Любовь к облакам, покосам,
к птенцам, сыновьям, к траве,
к женщине темноволосой,
к стольному граду Москве.

Ни горечи, ни досады.
И разве я сам смогу
без песни и листопада,
без лодки на берегу.

Спасибо за пути эти
родине и судьбе.
За то, что на белом свете
есть и дорога к тебе.

Есть встречи, есть расставанья...
И это в моей крови
щемящее сочетание
осени и любви.

ОТШЕЛЬНИК

Увенчавший замшелые скалы,
темнокожий, как аксакалы,
взявший силу у каменных недр,

хочет этого или не хочет —
ни о чем он уже не хлопочет,
никуда не стремится кедр.

Гордый конь ли вдали проскачет,
горький зов ли вдали проплачет, —
кедр скупое молчанье хранит.
Только корни корежатся криво,
только хвои тяжелая грива
и не может лететь... и летит.



Леше Баландину

Привычно к началу работы
и люди и птицы встают.
Мне снилось печальное что-то,
такое, как в песнях поют.

Я все не хотел пробудиться,
захваченный музыкой сна.
Но люди вставали, и птицы
звенели вовсю у окна.

Я вышел. Сосед сквозь зевоту
мне буркнул привет из пальто.
Мне снилось печальное что-то,
а вот не запомнилось что.

В округе весна началась,
и за ночь замерзшая грязь
к обеду опять растекалась,
в глухие канавы стремясь.

Жилось без особой охоты.
Мерещился яркий вокзал.
«Мне снилось печальное что-то», —
я вечером другу сказал.

Мы с ним допоздна просидели,
курили и пили вино.
Мы песню печальную пели,
какую не пели давно.

СТАРИК

Скоро мне, скоро, касатик.
Мне забываться не след.
Разве что на лето хватит,
может, и на лето нет.

Сяду — печаль донимает:
годы мои доцвели.
Выйду — меня обнимает
холодом темной земли.

Давеча снилась мне бабка,
раньше меня померла.
Жалилась, пусто, мол, зябко,
и за собою звала.

Я не пугаюсь. Иная
дума заботит меня:
как я помру — не узнаю,
как похоронят меня.

Дети, конечно, слетятся
к отчему — что ли! — крыльцу.
Как они, дети, простятся —
знать интересно отцу.

Как отзовутся соседи,
как отнесется родня
к факту, что нету на свете,
нету на свете меня.

Скажешь, поди-ка, что мелочь,
мертвому все нипочем.
Мелочь... А мне бы хотелось.
Ну да, касатик, ничо.



И в наши дни живут размеры
прекрасной пушкинской поры.
А в них гармония и мера —
две неразлучные сестры.

И пусть я сам пишу нескладно,
пусть не умею так сказать —
живут они, и мне отрадно
об этом ежедневно знать.

Борис ЧЕРКУН

ЦУНАМИ

ПОВЕСТЬ

Человека можно уничтожить,
но его нельзя победить.

Э. Хемингуэй

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Макар брился, когда в палату вошел Андриан Павлович. Остановился и молча смотрит на Макара. Макар ждет. Знает: Андриан Павлович не случайно зашел в «неурочное» время.

— Овчаров, как думаешь, что лучше: рентгенотерапия или операция?

Макар помедлил, хотя вопрос этот считает для себя давно решенным.

— Думаю, операция.

— И я так думаю, — согласился Андриан Павлович, будто не он Макара, а Макар его должен оперировать. — Ну, что ж, готовься.

— А я уже давно готов. Когда?

— В понедельник.

— С одной стороны будете оперировать, или с двух? — спросил Макар. Он настроился на операцию, понимает, что от нее никуда не уйдешь. Но два раза ложиться на стол... Очень не хочется.

— Я думаю, с двух, — сказал Андриан Павлович. — За раз — два раз, как говорят у нас в Чувашии.

Улыбнулся и вышел. Он был доволен Овчаровым: не пришлось уговаривать. Может просто не сознает всей опасности? Нет, не похоже: сам спросил.

Но в то же время Андриана Павловича не покидала тревога... Это будет его вторая одномоментная операция —



Борис Черкун — бывший пограничник, офицер, служил в Средней Азии. Тяжелый недуг на долгие годы приковал его к постели. Повесть «Цунами» — автобиографическая.

В настоящее время живет в г. Магнитогорске.

сразу на обоих надпочечниках. До него еще никто не отваживался на такое. Выдержит ли организм?.. Ведь практически на какое-то время надпочечники будут выведены из строя, перестанут функционировать...

Первая операция прошла успешно. Но причина для тревоги была основательная: больная тяжело перенесла послеоперационный период, приходилось не раз выводить ее из критического состояния. Потом и сама не верила, удивлялась: «Неужели жива? Дак это, можно сказать, вы мне вторую жизнь дали...» Да, вторую жизнь.

Теперь вот Овчаров...

А Макар побрился и лег. «Вот и все. В понедельник операция. Прооперируют с двух сторон — и конец моим мучениям», — думал он. Вспомнил, как это началось. Еще на границе у него стало полнеть лицо. Потом появилась непонятная слабость. Он это почувствовал, когда однажды сорвался с турника.

Прошел первое обследование. Потом комиссия и заключение: уволить в запас. Это были ужасные дни.

— Что же со мной? — спрашивал Макар. Его успокаивали:

— Ничего, пока ничего страшного. Вам надо подлечиться. Не отчаивайтесь.

Вы еще молоды, вполне возможно, что и на границу вернетесь...

— Что у меня?

— Болезнь Иценко-Кушинга.

— Хм... Впервые слышу. Отчего она?

— Вам объяснят эндокринологи...

Вот и все. Прощай, застава, прощайте, друзья-пограничники!

В Ульяновске, куда он приехал после демобилизации, его положили в больницу. Прошла неделя, другая, а улучшения не было.

Однажды во время обхода врач сказал:

— Мы хотим направить вас в Москву. Поедете?

— Если нужно — поеду.

— Там вас будут лечить профессора.

— А я думал, головную боль может вылечить любой врач.

— По-видимому, вас будут оперировать.

— А таблетками нельзя отделаться?

— Боюсь, что нет.

— Ну, что ж, надо — значит надо. Доктор, а после операции смогу я вернуться в армию или?..

— Этого я вам не могу сказать.

— Не хотите говорить правду?

— Не хочу лгать. Мы написали запрос в институт экспериментальной эндокринологии. Это все, чем мы можем вам помочь.

— Спасибо и на том.

Прошел месяц, а из Москвы ничего нет. Его выписали из больницы, направили на ВТЭК — там ему дали инвалидность второй группы. Еще на заставе он как-то спросил у своего командира, почему, собственно, год службы им засчитывается за полтора. Служить-то все равно до определенного возраста, пусть хоть год за десять идет.

— А вот как пойдешь на пенсию, тогда стаж будет считаться не календарный, а за год — полтора, — пояснил начальник заставы.

Макар тогда только свистнул: для него в то время понятие о пенсии казалось чем-то далеким и нереальным. Вся жизнь еще была у него впереди. И вот он, Макар Овчаров, бывший офицер, пограничник, бывший, бывший — стал пенсионером. Это в двадцать четыре года. Ну-с, батенька, дальше некуда!.. Ему еще снилась застава, сыпучий песок под ногами, тревожный зов трубы... Он просыпался внезапно и долго не мог прийти

в себя. Липкий пот покрывал тело. Боже мой, до границы несколько тысяч верст!..

Наконец, пришел вызов из Москвы... Здесь его сначала должен был посмотреть профессор, директор института. Поднялись на шестой этаж.

У двери в конференц-зал стоял больной и подслушивал, лицо его выражало греховное блаженство от сознания, что он вкушает от запретного плода. Дверь была приоткрыта. Макар тоже подошел и стал слушать: лекция о его болезни... Вдруг дверь отворилась — они отпрянули.

— Подслушиваете?

— Интересно, — отвечает Макар.

— Больные не должны знать о своей болезни.

— Почему?

— Если бы это было необходимо, вам тоже читали бы лекции. Идемте, Овчаров.

Они вошли в конференц-зал. Макар ожидал лицезреть здесь убеленных сединами ученых старцев, эдаких эскулапов, а увидел людей молодых, жизнерадостных, энергичных — все они разом посмотрели на него: взгляды любопытные, кое у кого даже озорные... «Ну, этим только попадись в руки», — почему-то весело подумал Макар, и ему даже захотелось выкинуть какой-нибудь фортель — жаль, значительность момента и места не позволяют.

А профессор была женщина.

— Сколько вам лет?

— Двадцать четыре.

— Вы всегда были таким полным?

— Худым никогда не был, но последние полгода со мной творится что-то невероятное...

— Воды много пьете?

— Да. Особенно к вечеру.

Она поворачивала его то одним, то другим боком и поясняла, обращаясь к присутствующим:

— Посмотрите: типичный, наглядно выраженный кушинг. Все симптомы налицо. У вас руки были толще? — спросила она Макара.

— Да. У меня были сильные руки — двухпудовыми гирями играл, как мячиками, а теперь...

— Вы кто по профессии?

— Пенсионер, — усмехнулся он. — А вообще-то бывший пограничник. Окончил пограничное училище. Служил на

заставе. До службы окончил техническое училище, работал машинистом крана. Сейчас в институт поступил, но...

— Когда же вы все успели? Вы кто — вундеркинд?

— Я и жениться успел!

Все улыбнулись. Профессор тоже улыбнулась.

— Ничего, не отчаивайтесь, мы вас вылечим.

Макара привели в палату, показали койку, тумбочку. В палате всего три кровати, у двери умывальник, над ним большое зеркало, на окнах белые полотняные шторы. Соседи тоже были дома, только что пришли с обеда. Познакомились. Один пожилой, молчаливый, задумчивый. Макару понравились его глаза: внимательные, добрые. Звали его Иван Георгиевич.

Другой сосед, Володя, молодой парнишка, очень веселый, и фамилия у него веселая — Боровиков. Он сразу стал вводить Макара в курс. Потом показал фотокарточку:

— Вот каким я был до операции: ужас! — И засмеялся, не в силах сдержать неумную радость. — А теперь, видишь сам...

Ему семнадцать лет. Стройный, гибкий.

— Вот вспоминаю, — говорит Володя задумчиво, — и не верится даже, что все это было со мной. Думал, уже никогда не стану, как все люди. Домой приехал, постучался. Мама вышла и спрашивает: «Вам кого?..» А я стою, молчу, смотрю на нее... Я не написал, что приеду, хотел неожиданно, чтобы обрадовать... А она все смотрит, смотрит на меня... Потом узнала, — Володя замолчал.

Иван Георгиевич был больным «со стажем». Он изучал свою болезнь, как противника, знал ее коварные и уязвимые стороны, он говорил, что сам, без помощи врача, может определить, чем вызвано ухудшение состояния, и что нужно сделать, чтобы его устранить, он вел подробный медицинский дневник.

Эту палату курировала Вера Андреевна, кандидат наук. Она говорила Ивану Георгиевичу:

— Дорогой Иван Георгиевич, вот что я вам скажу: вы свою болезнь знаете лучше любого врача. Я не преувеличиваю! Я же знаю ее вообще. Понимаете? Чтобы дать больному рекомендацию,

мне нужно прочесть ряд исследований. Если бы одной болезнью все болели одинаково! Но вся беда в том, что болеют — кто во что горазд! Поэтому мы, врачи, лечим не болезнь, а больного. А вот вы, Иван Георгиевич, уже боретесь с болезнью. Умному больному это удается не хуже, чем врачу. Но вот когда болезнь подкинет вам новенькую пакость, тогда вам ваш опыт уже не поможет — будь вы хоть семи пядей во лбу — и вы пойдете на поклон к нашему брату — врачу.

Потом она под села к Макару.

— Ну как, Овчаров?

Макар пожал плечами: он еще не изучил свою болезнь, как Иван Георгиевич.

— У нас в институте есть корифеи эндокринологии мирового значения, — сказала Вера Андреевна. — Николаев, Шершевский, Пясацкий... Возьмите того же профессора Николаева. В эндокринологию пришел еще в двадцатых годах. Он, например, разработал новую методику операций на щитовидной железе, получившую широкое признание, она была рекомендована Наркомздравом всем лечебным учреждениям. Сейчас Николаев — один из ведущих специалистов по лечению болезни Иценко-Кушинга. А вас, Овчаров, оперировать, вероятно, будет его лучший ученик, Андриан Павлович Калинин, тоже восходящая звезда мирового масштаба. Можете гордиться, что ваша орбита пересеклась с орбитой таких звезд. Мы вас тут так перекроим, что родная жена не узнает.

— Я, конечно, очень польщен... хотя предпочел бы остаться в тени. А жена меня и так уж не узнает.

Две недели его обследовали как перед полетом в космос.

Есть два способа лечения: рентгенотерапия и операция. Причем рентгенотерапия, насколько Макару известно, еще никому не вернула здоровье — она только замедляет течение болезни и очень редко — дает незначительную ремиссию. Хирургическое вмешательство, как правило, приводит к значительному улучшению.

Он внутренне нацелился на операцию.

И вот его перевели в хирургическое отделение. «Если все будет хорошо, выпишут месяца через полтора...»

Его мысли потекли в другом направ-

лении: он поправится, сынишка подрастет, они купят мотоцикл, палатку, будут ездить на рыбалку, за грибами, зимой — на лыжах... Как здорово будет! Рюкзаки за плечи — и пошел! На своих двоих. И на границу он вернется... Стоп! Вернется ли? Нельзя строить иллюзии, обманывать себя. А память уносит его все дальше и дальше — назад.

Он только что окончил училище и приехал к родителям в гости. Стояла небывалая для последних дней августа тридцатипятиградусная жара. Однажды Макар пошел на речку и встретил Дину Борисову, бывшую одноклассницу.

— Ты куда это разогнался? — задорно спросила она и всплеснула руками. — Боже мой, офицер! Надолго приехал? А в школу не заходил? Макар, какой ты ста-ал...

Когда-то у них было традицией: в последний день учебного года с последнего урока удирать всем классом на речку. Они ушли подальше, облюбовали себе широкий спокойный плес. Сверху вода была теплая, как щелок, а в глубине — ледяная. Ночи были уже прохладные и длинные, за день вода не прогревалась. Макар сплавал подальше и нарвал два большущих снопа куги, они с Диной легли на них, как на понтон, и отделились почти незаметному течению. Кругом стояла такая тишина, какая бывает только на пустынной реке. Над головой легкое, вылинявшее от жары небо, сквозь стебли куги приятно щекочет вода.

— На танцы пойдешь? — спросила Дина.

— А ты?

Они засмеялись.

Потом они отчаянно гребли руками против течения, но их усилия привели лишь к тому, что куга под ними расползлась, — пронзительный Динин визг полетел над величаво-сонным покоем плеса, и они очутились в воде, хохоча как оглашенные.

Они стали встречаться каждый день. А вечером — танцы. Дина много расспрашивала о границе, удивлялась, восторгалась, возмущалась, говоря, что равноправие женщин и мужчин только на словах, а на деле перед женщиной все дороги в жизнь полноценную, насыщенную трудностями и романтикой закрыты.

Макар рассказывал, как неустроенно живут там семьи, а Дина с жаром воз-

ражала, что такой жизни можно только позавидовать. А то вдруг спрашивала:

— Ну вот приедешь на заставу, чем ты там будешь заниматься?

— Работать. Служить.

— Ну, а после работы, когда приедешь домой?

В самом деле? Он над этим как-то не задумывался. И вообще, как устроится его личная жизнь? Застава где-нибудь в песках — какие уж там девушки! Потому с их братом иногда и случается, что женится потом на лету — где-нибудь в самолете или в поезде... А Дину он знает. Сколько лет вместе учились. Дина может стать верным спутником в его скитаниях по заставам, надежным другом, на которого он сможет положиться всегда и во всем.

И он решил однажды и выложил ей все, что думал. Она отнеслась к этому серьезно.

Сыграли свадьбу и уехали на границу.

На заставе у них и Сергей родился.

Его воспоминания прервала больная, часто приходившая к ним в палату. Узнала, что Макар дал согласие на операцию, и прибежала.

— Да ты что? Сам под нож лезешь. Да ты знаешь, что это такое — операция сразу с двух сторон? Это ж эксперимент! Недавно одну так же прооперировали — еле выходили. Так она до операции была куда здоровее тебя, — женщина сокрушенно всплеснула руками. — А он сам себе приговор подписал.

— Врачи знают, что делают, — возразил Макар.

— Ты, Макар Иванович, вижу, новичок в таких делах. Хочу дать тебе один совет. Обычно те, кому предстоит тяжелая операция, нанимают дежурную сестру.

— Как это — нанимают? — не понял Макар.

— Заранее договариваются с кем-нибудь, чтобы она в ночь после операции дежурила возле тебя, а ей за это платят.

— А зачем мне персональная сестра?

— Она будет лучше ухаживать.

— А если не заплачу, не будет ухаживать?

Она посмотрела на него жалостливо и ушла.

«Операция, деньги, жизнь... Вот уж действительно, кошелек или жизнь... Анекдот! Принесла же ее нелегкая».

Дине Макар не стал писать, что его будут оперировать. А то вся испереживается, пока получит следующее письмо. Вот когда он после операции уже сможет держать ручку, тогда собственной рукой напишет, что и как, — и Дине, и родителям. Ей и так сейчас несладко одной. И работать надо, и за Сережкой присматривать...

* * *

Наступил понедельник. О предстоящем Макар почти не думал, а если и думал, то мельком. Все его мысли были в будущем. Собственно, он всегда любил помечтать, только разве с той разницей, что сейчас заглядывал не так далеко. И мечты его теперь — о самом будничном, порою о сухих пустяках. Как бы каверзы ни приготовил для него кушинг, он все преодолеет — только бы вернуть ту «серую» будничность, которой ему сейчас так недостает...

Интересное было у Макара отношение к кушингу: ему странно было слушать, как некоторые больные проклинали болезнь, ненавидели ее, как живое, мыслящее существо, чуть ли не просили ее смилостивиться, не быть такой жестокой, и в душе даже умоляли ее... уйти. Макар тоже относился к кушингу как к чему-то реально существующему. Но коль скоро его существование зиждется на страданиях человека — и Макара в частности, — то между ними неизбежна борьба. Борьба без правил, без пощады — пока один из противников не будет уничтожен.

И Макар смело, с азортом, с какой-то бесшабашностью (посмотрим, кто кого!) принял вызов.

Не только принял, но и сам поставил условие. Чем ближе становилась опасность, тем сильнее возрастало в нем внутреннее сопротивление. А когда он почувствовал совсем рядом ее ледяное дыхание, тогда и вспыхнул этот азарт: посмотрим, кто кого!

В то же время Овчаров с любопытством наблюдал за собой: когда же начнется в нем та борьба благоразумия, воли, железного «надо» и т. д. с ужасом, отчаянием, цеплянием за жизнь и т. п., когда нахлынут на него те воспоминания милого детства, всего хорошего, что было в прошлом, святое чувство прощения всех бывших врагов и пр. — о чем

так много читал в описаниях тех минут, которые сейчас переживал сам — ждал, ждал, когда к нему придет все это... и уснул.

Через час его разбудили:

— Овчаров, поехали.

Ему помогли лечь на каталку и повезли в операционную. Все больные высыпали в коридор, кое-кто улыбался Макару, кто-то ободряюще кивнул, почти у всех во взгляде тревога, у некоторых — страх. Овчаров ехал точно сквозь строй. «Как в последний путь», — насмешливо, и в то же время с неприязнью, подумал он.

— Ни пуха, ни пера! — шепотом пожелала та, что советовала нанять сестру.

— Спасибо, — ответил Макар на зло приметам.

Привезли в операционную, перекаптовали на операционный стол. «До чего же он узкий — того и гляди, свалишься», — отметил Макар про себя.

Анестезиолог Алла Израилевна накладывает ему на руку манжет тонометра. Ассистент, грузный добродушный хирург, делает уколы новокаина. Макар слышит, как рассекают вену и вставляют в нее иглу от капельницы, но боли не чувствует. Он все так же улыбается в душе, наблюдая за своими ощущениями, за невольной настороженностью, за всеми приготовлениями: старается все запомнить. Эта улыбка не лишена философской иронии.

У стены на низком стуле сидит Андриан Павлович, весь в белом. Руки в резиновых перчатках держит на весу.

— Андриан Павлович, а если я не захочу, чтобы сразу с двух сторон? — говорит Овчаров.

— А я тебя и спрашивать не буду. Ты уснешь. Переверну тебя на другой бок, и знать не будешь, пока не проснешься. А проснешься — уже поздно будет протестовать: обратно не вставишь, — подтрунивает он над больным.

Сделали укол внутривенно — и плафоны на потолке стали двоиться, куда-то поплыли... Макар знает, что это наркоз, воспринимает все как должное, с любопытством, — он не перестает наблюдать себя, все это для него ново, даже интересно, но ничего гнетущего — вопреки тому, что вычитал в книгах... А плафоны плывут, плывут... Чувствует, что вот-вот... спросил, который час... И-и...

Сестричка Нина принесла утром термометры, но никто не пошевелился, все притворились спящими.

— Опять не хотите температуру мерять? Аферисты вы все. («Аферист» ее любимое словечко.) А что я буду ставить в температурный лист?

Из сестер она самая энергичная, самая заботливая, деловая (здесь всех сестер, кроме старшей сестры-хозяйки, называли по именам). Она среднего роста, худенькая, отчего кажется «выше себя». Плечи, локти, все повадки — мальчишеские, угловатые. С больными Нина фамильярно-бесцеремонна.

— Да у нас у всех температура нормальная, — пробубнил кто-то из-под одеяла.

— Ты мне эти шуточки брось! Ну, ладно, шут с вами, всем поставлю нормальную, — крутнулась на одной пятке — и ее уже нет в палате.

Но Макар, как послеоперационный, от градусника не отвертелся.

По коридору Нина шагом почти не ходит. Вот она бежит в палату.

— Ни-на! — зовет ее кто-то из другой.

Заскрипели «тормоза» — это она в тапочках, как на лыжах, проехала по полу — затормозила. Вбегает:

— Это ты, аферист, звал меня? Чего тебе?.. — через минуту бежит дальше.

Больные в ней души не чаяли.

Потом Нина принесла завтрак.

Овчаров смотрел на тарелку, как кролик на удава. Нина пожурила его:

— Аферист ты, Макар Иванович, уже третий день ничего не ешь.

— Не хочется, — слабым голосом сказал Макар.

— Вот съешь хоть одну ложечку, сразу силы прибавятся. Сметана — люкс.

«Люкс» — тоже ее любимое словечко. За это ее обычно называли Нина-люкс.

Макар невольно открывает рот, глотает сметану. Нина снова набирает.

— Мы договаривались только одну ложечку...

— Ты мне эти шуточки брось! Вот поешь, сразу силы прибавятся. Приедешь домой — все попадают. Никто тебя не узнает! — А сама кормит и кормит. Наконец, он сжимает губы. Нина не настаивает, она довольна:

— Вот и молодец, почти все съел. А то все не хочу да не хочу. Аферисты вы все. — И смеется.

В обед его кормила Зина — молоденькая, смуглая, черноволосая сестричка. Она улыбалась ему глазами, губами, щеками — всем лицом, левой рукой глядела по плечу, по голове, а правой подносила ложку, ласково приговаривая:

— Ешь, миленький, ешь. Ешь, хорошенький, — и слова ее звучали так искренне, с такой лаской, даже мольбой, что он готов был сделать все, что она ни скажет.

Она стояла, наклонившись, у его высокой послеоперационной кровати и вместе с ним невольно открывала и закрывала рот, будто хотела помочь ему этим.

Макару казалось, что он снова стал маленьким, ласка расслабляла, он готов был расплакаться, как в детстве — ни с того ни с сего... Он испытывал беспредельное чувство благодарности к этим девчушкам, а выразить это чувство не мог... Хотя бы потому, что все еще был на их попечении.

Спустя несколько дней Зина приходит в палату и спрашивает:

— Овчаров, вы кто по профессии?

— Машинист крана.

— А я думала, какой-нибудь корреспондент.

— С чего ты это взяла? Думаешь, раз толстый, значит корреспондент?

— Да сейчас внизу звонили: разыскивает вас кто-то из редакции.

— Из какой редакции? А-а! — догадался. — Из журнала «Пограничник», наверно?

— Значит, это к вам, — радостно заключила Зина. — Тогда скажу, что вы здесь.

Она ушла, не подозревая, как взволновала Макара.

...Уволившись из армии, Овчаров долго не мог вжиться в гражданку, ему казалось, что все это временно, ненастоящее, часто вспоминал заставу, друзей. Утром, просыпаясь, он удивлялся: «Подумать только, за всю ночь ни разу не подняли». И вечером: «Сейчас на заставе наряды высылают». А когда лег в Ульяновске в больницу на обследование, затосковал по границе так, что никакого спасу... Воспоминания требовали какого-то выхода. И он начал писать: о заставе, о боевых товарищах. А когда приехал в Москву, отправил в редакцию журнала «Пограничник» письмо, в котором просил ознакомиться с его руко-

писью. «Ну, что ж, — подумал Макар, — семь бед — один ответ...» Он и вправду разволновался.

В палату вошли двое: молодая миловидная женщина и рослый мужчина с зеленой фуражкой в руках, оба в накинутых на плечи больничных халатах. Их сопровождала Зина.

Макар еще не вставал после операции, поэтому гостей встретил лежа. Когда здоровались, халат сполз с плеча мужчины, и Макар увидел погон майора. А женщина назвалась литсотрудником редакции.

Как давно Макар не видел зеленой фуражки! Наверно нет ни одного человека, служившего на границе, кто бы остался равнодушным, увидев этот родной цвет!

Они взяли рукопись и уехали.

Этот визит взбудоражил Макара, что-то заныло в груди... понеслись, опережая друг друга, воспоминания... Как боялся майских жуков Ванька Истомино! Он безобидный, и ребята любили подшутить над ним. Перед отбоем нафаршируют его постель майскими жуками, он это знает и прежде, чем разобрать свою постель, с бледным лицом ощупывает трясушимися руками койку, как заминированную. Обнаружив жука, брезгливо сбрасывал его палочкой, победно ругаясь: «У-у, фляги! Снова жуков накидали! Вовка, я знаю, это твоя работа!» — А Вовка с удивлением, словно знать ничего не знает: «Да ты че, ты че?» «Вот дам по шее, тогда узнаешь, че!» — грозит Ваня, но угроза так и остается угрозой. А училище окончил с отличием.

— Макар Иванович, чему это вы так хорошо улыбаетесь? — спросил сосед.

— Да так... Хорошее вспомнилось.

— Небось, как в первый раз женился?

— Берите выше: друга вспомнил.

— Пограничник?

Овчаров кивнул утвердительно.

— Переписывается?

— Да... Изредка.

* * *

Через месяц Макара выписали. Перед отъездом он позвонил в редакцию. На него заказали пропуск. Очутившись в редакции, Макар подумал с иронией: «Ворона, ворона, где ты летала и куда попала?» Литсотрудник вернула руко-

пись и сказала, что это не повесть, а только материал для повести, и что она даже затрудняется сказать, получится ли из этого когда-нибудь настоящее произведение.

Выйдя из редакции, он повертел в руках вдруг ставшую лишней и ненужной рукопись, усмехнулся горько: беда, коль сапоги начнет тачать пирожник!.. — смял хрустнувшие в пальцах листы, выбросил в первую попавшуюся урну и поехал на вокзал.

Была середина сентября. С неба шел ровный дождь, на мокром асфальте отражались деревья, пешеходы, машины. На деревьях появился первый желтый лист, опадает на тротуары. Увидишь такой лист в блестящем зеркале лужицы — и повеет на тебя светлой грустью, как из есенинских стихов. Сквозь заплаканные стекла автобусного окна Макар смотрел на расплывающиеся силуэты людей, домов... Кажется, ехал бы так и ехал без конца, покачиваясь на сиденьи, встречая и провожая бездумным взглядом надвигающиеся, уплывающие серые видения. «Приехал в дождь, и уезжаю в дождь... — подумал неожиданно. — А что изменилось?..»

Он снова дома. Дина обрадовалась его возвращению. От ее внимания, заботы, от того, что она здесь, с ним, Макару было хорошо, рядом с нею даже болезнью казалась ему не бедой, а только временной неприятностью.

Дина была наделена броской красотой. Правда, это была не та красота, которую открываешь изо дня в день, и каждый раз она сияет тебе по-новому. У нее голубые глаза, завораживающе ясные. Росту она была среднего, плотненькая, но не толстая, ноги красивые, но мини — не для нее.

Макару нравились прекрасные динины волосы, они у нее каштановые, густые, очень послушные — одним прикосновением руки она могла уложить их так, как ей хотелось.

До того дня, пока Макар не лег в больницу, Дина наивно верила, что к нему не может пристать никакая болезнь: он был выносливый, закаленный. Она никогда не видела его уставшим, какую бы трудную работу он ни сделал. И очень бы удивилась, если бы у него появился кашель — ведь он зимой, бы-

вало, сделает зарядку, а потом выходит на улицу и, обнаженный по пояс, зарывается в снег... А когда заболел, Дина испугалась: «Что будет со мной, если потеряю его?..» Она с нетерпением ждала от него известий, а когда получала письмо, долго не распечатывала — боялась.

Макар был уверен, что может положиться на Дину во всем: больше всего он ценил в ней друга.

Дина ожидала Макара похудевшим — он же писал, что операция прошла успешно. Думала, придет, наденет военную форму (ей он больше всего нравился в военном, жаль, нельзя ему ходить в погонах), и они пойдут в кино. А он все в тех же намозоливших глаза шароварах...

А месяца через два Макару стало хуже. Он написал Андриану Павловичу длинное письмо. И вскоре получил вызов.

Письмо Овчарова не обрадовало Андриана Павловича; оно было еще одним подтверждением тому, что частичное удаление — это стрельба из пушки по воробьям: надпочечники почему-то снова увеличиваются. Кто бы мог подумать?! А большие верят, надеются, советуются... Он же бессилен им помочь. «Одномоментные ничего не дали, — думал Андриан Павлович. — Из пяти — два летальных. Нарушалась деятельность обоих надпочечников, резко падало количество гормонов, плюс ослабленный организм, ему было трудно в такой короткий срок перестроиться, не выдерживал гормонального голода. И вообще продолжать делать частичное удаление — это преступление.

...А что ты предлагаешь взамен? Тотальное? Но ведь это одна из аксиом медицины: человек без надпочечников жить не может. Тотальное... Тотальное... скажи кому — засмеют... Адиссон... так у них хоть плохонькие надпочечники, да свои... Один удалить? Лишь бы выдержал первые несколько дней. Неужели второй не потянет? Если при двусторонней выживали, то и с одним должны... Должен!»

Всякие бывают в науке революции — и большие, и малые, — и не менее отличны дороги, по которым мысль устремляется к открытию: кто, как не алхимики, совершенно случайно наталкиваются

на феноменальные свойства и явления в природе и обращают их на пользу человечеству, другие блуждают в чудовищных лабиринтах опытов, забредая в безнадежные тупики, оставляя там скелеты своих несбывшихся гипотез и надежд, а к цели выходит лишь тот, кого вела нить Ариадны — тонкое знание предмета и несокрушимая логика, а кое-кому стоит сделать шаг в сторону, вопреки светящемуся табло «запретная зона» — и жар-птица у него в руках. Но решиться на такой шаг в сторону бывает труднее, чем прорубаться сквозь джунгли экспериментов: священный страх, впитанный «с молоком» еще в вузе, внушенный уважаемыми наставниками — корифеями, на всю жизнь прививает благоговейный трепет перед запретным, сама мысль вторгнуться в таинство, нарушить первозаданную гармонию заповедного кажется кощунственной.

Удалить полностью хотя бы один надпочечник представлялось Андриану Павловичу слишком простым, смехотворно простым решением проблемы. С одномоментными и то хлопот, трудов, чисто технических задач было предостаточно. А тут... Казалось невероятным перевернуть все вверх тормашками, не оставить камня на камне от доселе незыблемого закона просто вот так: завтра, делая рядовую операцию, взять и отсечь не часть, а весь надпочечник, на какие-то десять граммов больше обычного! И революция в лечении кушинга сделана. Просто, как поставленное Колумбом на попа яйцо.

Преодоление этого психологического барьера оказалось самым трудным на пути к решению проблемы. А ведь предстояло разрушить этот барьер в сознании своих коллег... и — в сознании недоброжелателей! Так просто и так трудно! Просто, как все гениальное, и трудно, как все гениальное: как яблоко Ньютона, как пришившаяся Менделееву знаменитая периодическая таблица.

Но не по мановению волшебной палочки, не по наитию, ниспосланному свыше, озаряется сознание блестящей идеей. Это — добыча беспокойной, ищущей мысли, никогда не принимающей на веру до конца ни одного, даже, казалось бы, самого незыблемого канона. Творческая мысль — это та, что все берет под сомнение, пока сама не достигнет сути. Только такой ум способен делать откры-

тие, только такими умами творится прогресс.

Андреас Павлович вспоминает, как на выпускном экзамене, когда он уже ответил на билет, профессор задал ему вопрос: может ли жить человек, если у него будут удалены надпочечники? Он тогда подумал, что если организм может обходиться искусственным гормоном, например, поджелудочной железой — инсулином, то и при заместительной терапии гормонами надпочечников человек тоже будет жить.

Так он и ответил профессору. Профессор принял его ответ за личное оскорбление и выгнал его из кабинета, прокричав вдогонку: «За-ру-би-те себе на носу: без надпочечников человеческий организм существовать не может! Не может, не может! Это только у сусликов есть ткани, частично выполняющие функции надпочечников!»

Это напутствие уважаемого профессора долго тяготело над Андреасом Павловичем как некое заклинание от попыток посягнуть на Великий запрет. Может быть слова профессора так и остались бы для него священными, не займись он кушингом. Но вот его мысль, понукаемая безвыходностью, сначала робко, потом все смелей и настойчивей стала виться, кружить вокруг недозванного, и, наконец, стала главенствующей, он решил вторгнуться в заповедное, ибо там нарушилась гармония, и ее следовало восстановить.

...Кролики, которым удалили железу, выжили.

А — люди?

Надо было переступить через что-то, нарушить Великий запрет. Ночью Андреасу Павловичу снились кошмарные сны. Кто-то кричал ему в самое ухо: «Зарубите себе на носу... Кролики выжили... выжили!.. А человек не может... не может!..»

Андреас Павлович проснулся с тяжелой головой. Встал, оделся, подошел к окну. Еще не светало. Нет, может, — твердо сказал себе Андреас Павлович, — может.

* * *

Ожидая свою очередь в рентгенкабинет, Овчаров был поражен видом одной больной, которую оттуда вывели под руки. Ее посадили на стул, дали кисло-

родную подушку. Макар подумал, что она, вероятно, доживает последние дни. «С этой врачам уже не справиться». Это была Ира, девушка лет двадцати четырех. Она была первой, кому полностью удалили надпочечник. Много дней врачи боролись с нависшей опасностью. И, наконец, кризис, кажется, миновал. В эти же дни Макар познакомился с Витей Мединцевым. Ему всего шестнадцать. Года три тому назад ему, как и Макару, было сделано частичное удаление обоих надпочечников. А сейчас у него рецидив. И Андреас Павлович нацеливается на повторную операцию.

Впоследствии Ира и Витя стали для Овчарова своеобразными полюсами, к одному из которых он должен был непременно прийти.

Больница, с одной стороны, это средоточие страданий человеческих. С другой же — здесь витает дух, способный очищать душу, делать ее чуткой и мягкой. Витя оказался одной из счастливых жертв этого духа: он был очень общителен и привязчив, вхож во все палаты, его приходу всегда были рады. Он у всех просил книги про любовь и читал их запоем. От больных он перенял многие ремесла: умел плести авоськи, делать шкатулки из картона, открыток и рентгеновских пленок, плести пояса и галстуки из сутажа, наряжать кукол-голышек принцессами, из лент делал им роскошные декольтированные платья и широкополые шляпы и дарил их больным и детям, приходившим навестить папу или маму.

И вдруг он влюбился.

В отделение поступила новенькая, ей было лет девятнадцать, миниатюрная, с маленьким носиком и ямочками на щеках — как большая живая кукла, похожей на куклу делали ее и светлые, выщипанные колечками волосы, и большие, чуть нависшие голубые глаза.

Витя зачастил в ее палату. Он не умел прятать своих чувств за постной маской лица, он всей своей чистой душой потянулся к этой девушке... А она отворачивалась, ей он был неприятен, может быть, даже отвратителен. Но он ничего этого не замечал, продолжал заходить сюда и готов был предупредить каждое ее движение. Мужчины в кулуарах обсуждали это событие, им жалко было Витю. Девушку они не осуждали: в самом деле, что для нее этот изболев-

ший до безобразия мальчик? Да к тому же, как выяснилось, она была замужем. И Вите стали осторожно говорить, что ему не следует туда ходить, была бы она холостая — тогда другое дело. Витя соглашался... и продолжал целыми днями пропадать в ее палате. И вдруг однажды она заговорила с ним и даже слегка погладила его по руке, приласкала.

И Витя окончательно потерял голову. Теперь только и разговоров было: зачем она это сделала, приблизила его, зачем? Ведь хуже будет... И кто-то возражал: хуже не будет, хуже быть не должно, потому что хуже быть уже некуда.

* * *

Макар принял полный курс рентгенотерапии, и его выписали. Он зашел к Андриану Павловичу проститься.

— Андриан Павлович, что дальше делать будем?

— А что тебе в терапии сказали?

— Сказали, что если через полгода не будет улучшения, еще курс рентгенотерапии вкатят.

Хирург поморщился.

— А вы что скажете?

— Я думаю, надо полностью удалять левый надпочечник.

— Я, конечно, человек темный, но тоже думаю, что мне эта рентгенотерапия — что мертвому припарка.

«Лыжные походы и грибные набег, кажется, отодвигаются на неопределенное время... ну, да ничего, «терпенье, мой мальчик, и ихтиозавры будут наши», — как говорит Аркадий Райкин. Академический отпуск кончился, институт мой накрылся... Я уже не говорю о границе... Граница для меня — на замке. Увы!..»

Овчаров уехал домой.

Андриан Павлович же остался в институте со своей нерешенной проблемой, со своими мучительными раздумьями. Он частенько заходил теперь в палату к Ире, осматривал девушку и молча уходил. Нет, тут что-то нечисто. Очень уж легко расстался организм с одним надпочечником. Надо быть вдвойне осмотрительным... Да оно и понятно: не такой уж большой риск удалить один надпочечник — второй-то остается. А что будет, если и второй?.. Что, если и в са-

мом деле человек не может жить без надпочечников? Ведь, удалив один, я, по сути, даже не приоткрыл завесу над тайной. Как будет реагировать организм на удаление обеих желез? Не пробудится ли тогда в нем голиаф, что окажется страшнее биологической несовместимости? Если бы процессы, связанные с работой гормонов, можно было смоделировать и испытать с такой наглядностью, как, например, работу почки или искусственного сердечного клапана... Кролики? Да, живут. Но этот факт сколь обнадеживающий, столь истораживающий: живут-то кролики, а люди? У них ведь даже и при частичном удалении почти не бывает одинаковых результатов: тот в день принимает по две-три таблетки, другой — одну через день, третий совсем не принимает, а у четвертого — рецидив, у одних осложнения на почки, у других — на позвоночник, у третьих нарушен солевой обмен, у четвертых... пятых-десятых подействовало на психику... Боже мой, где же золотая середина! Вот тут поди предусмотреть и предвидеть... А вопрос все равно решать надо. Неправда, придет время, когда вся эта механика перестанет быть загадкой, будет управляема, как хорошая машина... Но те больные, что лежат в палате, ждать не могут, когда наступит этот золотой век, их надо спасать сейчас. Им все наши теории, что называется, до лампочки — им здоровье давай...

Если проблема удаления надпочечников будет решена, то для эндокринологии это событие будет иметь примерно такое значение, как в лечении сердечно-сосудистых заболеваний — успешная пересадка сердца. Ведь сама по себе операция по пересадке сердца не такая уж сложная, тут главная трудность — преодоление биологической несовместимости.

Но классический путь открытий Андриану Павловичу заказан. В данном случае ученый шел к цели путем предположений, умозаключений, догадок, сопоставлений, просеянное все это сквозь решето логики складывалось потом в гипотезу, мысль, оттачиваясь, проникала в самые глубины жизненно важных процессов, в этот ювелирный механизм, балансирующий на острие тончайших связей биохимических превращений в теснейшем взаимодействии и под контролем нервной системы.

Наконец все аргументы за и против операции сложились в четкую логическую схему. Как и прежде, главное сомнение было в том — выдержит ли организм, сумеет ли в короткий срок перестроиться на новый гормональный режим?

Об этом и спросили Андриана Павловича на ученом совете.

— Во всяком случае, организм должен легче перенести гормональный голод, — докладывал он, — чем последствия одномоментной операции. И вот почему...

Андриан Павлович говорил горячо, убедительно. Ученый совет нашел его доводы исчерпывающими. И все равно — это был риск. И Андриан Павлович сознательно шел на него.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Сознательно шел на риск и Макар, потому что другого выхода у него не было — только операция могла его спасти. Он это понимал. Он в это верил.

Макара положили в терапевтическое отделение. На этот раз его лечащим врачом оказалась молодая, красивая женщина, звали ее Зоя Ивановна. Голос у нее мягкий, глаза приветливые. Измерив давление, которое оказалось высоким, она назначила резерпин.

— Он мне не помогает, — отказался Макар.

— Тогда уколы дибазола, — ее голос стал еще мягче: ничего, это не помогает — другое найдем.

— Также не помогает.

— Попробуем еще раз, — Макар уловил нотки материнской строгости, брови ее стали тверже.

— Зачем?

— Вы сюда лечиться приехали или нас учить? — глаза ее сузились, построжили, в голосе послышалось сдерживаемое раздражение.

— Лечиться. Потому и отказываюсь от резерпина и дибазола. Сначала я выполнял все назначения врачей. Мне пока ничто не помогло. Делать новый заход не хочу. Если есть что-нибудь новенькое, — согласен.

— Тогда уколы магнезии, — теперь голос врача был унылый, видимо, почувствовала, что и это будет отвергнуто зарвавшимся умником, лицо обиженное.

— Извините, я не виноват... честное слово, от магнезии у меня был колоссальнейший абсцесс, — с виноватой улыбкой ответил Макар.

Она больше ничего не сказала и ушла из палаты совершенно расстроенная.

Макар совсем не хотел злить это милое существо с таким певучим голосом, кроткими, добрыми глазами. Он тоже расстроился. В конце концов, не для себя же она старается. Но и он тоже не виноват, что другие врачи уже испробовали на нем все эти лекарства...

Овчаров пошел в хирургическое отделение к Андриану Павловичу. Видит, хирург не рад его приходу.

— Андриан Павлович, что будете со мной делать?

Тот отвечает с неохотой:

— В общем, надо резать. Но очень не хочется, — тяжело вздыхает. — Повторно оперировать очень сложно. Резать по старому рубцу — там много спаек. Да и живот у тебя вон какой... Давай пока сдавай все анализы, а там видно будет. Да и директора института сейчас нет, она в ГДР, и профессор Николаев в отпуске, а без них я не могу сам решать...

Спустя несколько дней Зояванна сказала, чтобы Макар готовился к пневморену (вид исследования). У него даже колени задрожали.

— Зояванна! — взмолился он. — Мне до операции делали, и то ничего не получилось, а сейчас там спайки... Пустое занятие.

— Больной, вы опять меня учите?

Макар виновато пожимает плечами.

— Зояванна, поймите меня правильно, я не строю из себя умника. И не хочу вас учить...

— Готовьтесь на завтра, и никаких разговоров, — не дослушав, сказала она и ушла.

Овчаров отправился искать Андриана Павловича. Случайно встретил его на лестнице. Рассказал о своей беде.

— Ладно, я с ней поговорю, — пообещал хирург.

Андриан Павлович зашел в ординаторскую, а Макар остался в коридоре. Слышит, разговаривают на высоких нотах. Через минуту выходит Зояванна, злая, как волчица, увидела Овчарова:

— У-у, ябеда! — этим она разрядила свою злость. Немного помолчала. Смягчилась немного. — Ваша взяла.

Только не надейтесь, что я буду идти у вас на поводу! Скажите своему благодетелю спасибо.

Анриан Павлович, видимо, что-то такое сказал ей о нем, что она больше не считает его мудрствующим от лукавого — это Макар уловил в ее голосе.

* * *

Еще в приемном отделении Овчарову сказали, что здесь Витя Медынец. Витя лежал в хирургическом отделении в изоляторе. Его дела были плохи. Полгода назад Андриан Павлович попытался сделать ему операцию повторно, но неудачно — и вот с тех пор Витя лежит на животе, даже на бок повернуться ему нельзя. Но шутит по-прежнему! И у всех просит книги про любовь. Макар пришел к нему. Оба обрадовались и не скрывали этого.

— Ну, что, старина, лежим? — спросил Макар.

— Лежу пока. Скоро еще резать будут. Андрианчик говорит: «Попытаюсь все же добраться до надпочечника».

Макар не решился спросить про ту девушку, скорее всего, она выписалась и забыла о Вите. Лучше не напоминать.

Вскоре Витю Медынцева прооперировали снова.

Макар несколько раз приходил к нему, но каждый раз глаза у него были закрыты: то ли спал, то ли был в забытьи, то ли не хотел никого видеть. Медсестры говорили, что он стал раздражительным, капризным. Раньше за ним такого не водилось.

Кто-то из врачей пронюхал, что Овчаров умеет рисовать. Попросил написать объявление. И с его легкой руки Макара завалили работой. Шли кому не лень: медсестры, врачи, больные — подписать открытку, сделать таблицу, оформить стенгазету. Ему стали приносить ватман, краски, плакатные перья, и вскоре стол в палате был завален канцтоварами. Сестра-хозяйка отделения дала ему нагоняй за это. Но многие сотрудники, для которых такой художник оказался просто находкой — к нему можно прийти в любое время, и он сей момент все вам делает в наилучшем виде, — отстояли Макара, и его больше не трогали.

Макар приходил к Вите, но тот лежал с закрытыми глазами и ни на что не реагировал. Для него все было кончено.

* * *

Макар потерял сон. Очень много думал. Другой раз — всю ночь напролет. Что же дальше будет? Витя Медынец не выдержал, умер. А что толку, что я живу... Он впервые так думал. Вчера он увидел себя в зеркале и поразился: не похож на человека, то есть от того человека, каким он был, ничего не осталось. Так зачем, ради чего жить?

Когда он уезжал в Москву, Дина и родственники пошли его провожать. На вокзале, в вагоне жена старалась держаться подальше, словно она здесь — случайный человек. А совсем недавно написала: «Я сейчас ни богу свечка, ни черту кочерга...»

Конечно, не для того она замуж ходила... вернуться нужно здоровым. А нет — так развязать ей руки. Сережка? А что я могу сделать для него полезного?

За окном еще совсем темно, но машины уже гудят. Значит, пять часов.

На следующий день, во время обхода, Макар, собравшись с духом, пошел в атаку:

— Зояванна, я вот посмотрел со своей колокольни и пришел к выводу, что нужна операция.

— Нет, операцию вам сейчас делать нельзя. Операция — крайняя мера. Сначала испробуем другие способы.

— А время не упустим?

— Прооперировать всегда успеем.

Говорить о «потолке» или нет?

— Я не допущу, чтобы вес превысил сто десять килограммов, — говорит он, глядя ей прямо в глаза, спокойно говорит, без восклицательных знаков. Она поняла его правильно. Выдержала взгляд и спокойно ответила:

— Не смейте и думать об этом.

— Зояванна, пожалуйста, не думайте, что я рисуюсь или шантажирую вас. Но таково мое решение. Я имею право распорядиться собой.

— Надо бороться до последнего.

— Согласен с вами. Но цепляться за жизнь не буду. А как бы вы поступили, окажись в моем положении?

Она ничего не отвечает, опускает глаза. Потом говорит:

— И все же надо лечиться.

— А я разве возражаю? Или настаиваю на лечении, что полегче? Я встречал таких больных, что говорили: «Пусть я

лучше умру, но на операцию не соглашусь». Я же настаиваю на самом опасном, потому что считаю это единственным верным.

— Одна я не могу решать. Надо мной есть начальство, от него все зависит. Я доложу о вас.

* * *

Жене Макар писал часто и помногу, обо всем подробно. Дина знала о нем все, она как бы видела его. И эта зримость была не столько от подробности писем, сколько от бодрого, часто иронического, такого знакомого тона, что в строчках, казалось, слышался голос Макара. Она ценила эту его черту — никогда ни на что не жаловаться. Он не только не хнычет, а, как может, подбадривает, утешает ее. Когда полтора года назад он написал: «Я понимаю твое положение, понимаю, что тебе трудно, если ты полюбишь другого человека и уйдешь к нему, я на тебя не обижусь». «Я все понимаю», — когда он написал это, она возмутилась, обиделась и ответила, что ей, кроме него, никто не нужен. «Нет! Я не хочу, понимаешь, не хочу потерять тебя!» — кричала ее душа.

Дина работала на заводе железобетонных конструкций контролером. А тут неожиданно для себя самой перешла в таксомоторный парк. Это соседка ей предложила (соседка работала там главным бухгалтером), им нужен был счетовод. Обещала помочь Дине, а там ее пошлют на курсы, она со временем станет бухгалтером, это уже специальность — не то что какой-то там контролер. Дина не долго думала — через три дня она уже шелкала на счетах в конторе таксомоторного парка. Работа сидячая, в тепле, и зарплата хорошая, а на заводе зимой — сквозняки, летом — солнце, пыль, грязь...

Шоферы сразу обратили внимание на новенькую, и не удивительно: Дина не просто красива — для свежего глаза она красавица, и таксисты стали выказывать ей усиленное внимание. Но для нее это было не в диковинку, она знала, что нравится мужчинам, так было всегда, где бы она ни появлялась. Она же лишь посмеивалась над ними. А шоферы, поглядывая на нее, только вздыхали — никто из них не имел даже намека на успех.

...Но Дине нравилось, что мужчины выделяют ее среди женщин. В таксомоторном парке были видные собою парни, и она невольно сравнивала их с Макаром... И вдруг впервые больно ее что-то кольнуло: «Господи, поскорее бы уж один какой-нибудь конец!» Позволив всплыть этим мыслям, разрешила себе и дальше думать о том, о чем до этой минуты сама себе думать запрещала. «Пока молода, красива, ребенок маленький, могла бы устроить свою жизнь. А то ведь еще несколько лет — и красота начнет увядать. Да и Сергейка подрастет...» И еще сознавалась себе, что когда Макар уехал на первую операцию, уже тогда втайне желала: или бы — или... Потому и сокрушалась, что операцию сделали, а брюки на него так и не налезают. Только тогда от самой себя неловко было думать такое.

А в этот раз, провожая его в Москву, не могла пересилить в себе желание ступешаться, стать незаметной, чтобы люди, украдкой поглядывавшие на них, не подумали, что она его жена. И проклинала себя потом за это, и мучилась от сознания своей подлости, а вместе с тем искала оправдание своему поступку.

Раньше Дина была довольна судьбой, Макар был неплохим мужем, во всем помогал: и пол помоев, и обед, бывало, сготовит, и что она ни поставит на стол — он все ест, да еще и нахваливает, сейчас каждый месяц высылают доверенность, и она получает его пенсию. «А за что теперь судьба отвернулась от меня? Ведь живем один раз!». Опять — за старое.

Разумеется, никому из мужчин она не даст повода... Она и дальше будет верной женой, будет вести себя так, чтобы никто ничего не мог сказать о ней плохого.

Да ей и нравится роль верной жены, нравится, когда сотрудницы, бывает, спросят, трудно ли ей, без мужа-то, а она снисходительно так отвечает, что она верна ему, несмотря ни на что.

А однажды, когда какой-то таксист стал в открытую с нею заигрывать, она при всех отчихвостила его:

— Думаешь, если у меня больной муж, так я теперь за любые штаны уцеплюсь?

Шоферы после этого случая стали относиться к ней с уважением.

В последнем письме Макар писал,



чтобы она не сидела дома, ходила в кино, в театр — и ей стало совестно, что иной раз сравнивала его то с одним мужиком, то с другим... А села писать ответ, вспомнила свою долюшку соломенной вдовы — и пожаловалась, что она сейчас ни богу свечка, ни черту ко-черга...

В «гарнизоне», где Макар Овчаров бессменный комендант, не успели выписать двоих, как на их место положили Серго-Грузина, лет тридцати пяти, и Володю Боровикова. У него тоже рецидив. Он почти не встает, по палате передвигается с костылями.

Серго здесь тоже не новичок, но ни с Макаром, ни с Володей не знаком, у них обоих он вызывал неприязнь, хотя как будто и не хотел портить с ними отношений. Было в нем что-то такое... что словами сразу и не обскажешь, но друзья, словно сговорившись, стали относиться к нему сдержанно. Серго всегда был чем-нибудь недоволен, для него здесь все было не так: и грязно, и кормят ужасно плохо, на наволочках, видите ли, пуговицы, а должны быть тесемки, и пижамы, наверно, женские, потому что петли с обеих сторон...

В Туркмению бы его, думает Макар, где вокруг ни одного деревца, только гольный песок, да разок-другой взыграл бы афганец (так в тех местах называют ураган, дующий с юга), когда в двух шагах ничего не видно, песчинки до крови секут лицо, режут глаза, скрипят на зубах... Тогда бы ему эта палата показала, если не раем, то райской прихожей.

Между собой друзья стали называть Серго Занудой. Ему никто не мог угодить. Он любил повторять, что все они, больные, лишь подопытные кролики, а врачи — сущие изверги, они на больных «практикуются» и «возятся» с ними только для того, чтобы написать диссертацию.

— Зачем же вы тогда лежите здесь? Вас сюда никто силком не тащил, — сказал Макар, когда у него лопнуло терпение слушать его нытье.

— Если я больной, нада же минэ гдета лежица.

Макар каждый день твердил Зоеванне об операции. А она боялась даже думать об этом. С кем из врачей ни заговори про операцию, каждый отводит глаза в сторону, будто в чем провинил-

ся, и он читал на их лицах: «Торопишься вслед за Медынцевым?».

А вес увеличился.

«Глупая башка, если тебе еще не надоел белый свет — шевели мозгами! Докажи, заставь, делай, что хочешь, но — вынуди врачей на операцию. Спасение только в ней. А не то — расшибу твой медный лоб о лоб электрички. Мне — такому — дорога домой заказана».

Но Макарова башка пока ничего лучшего не придумала, как снова идти к хирургу.

— Андриан Павлович, я без вступления: когда будете меня оперировать?

— Наверное, никогда.

— Вы же сами говорили, что нужна операция.

— Сначала надо испробовать другие способы лечения.

— Я понимаю, что после Медынцева вы сомневаетесь.

— Да, и Медынцев вот...

— Андриан Павлович, я не боюсь...

— Зато я боюсь, — перебивает он больного. — Не могу я взять на себя такую ответственность. Да после Медынцева мне никто и не разрешит, — он немного помолчал. — Можно было бы попытаться через живот добраться до надпочечника, но я так еще ни разу не оперировал.

— Надо же с кого-то начинать, — ухватился Макар за эту ниточку. — Почему бы не с меня? Другого еще уговаривать придется... Ну, пожалуйста!

— Зарежу — мне твои родители спасибо не скажут. Я не бог, я только хирург, понимаешь?

— Никто никаких претензий предъявлять не будет. Я при вас им напишу и все объясню.

— Нет, не проси. Повторно оперировать нельзя! — больше для себя, чем для Овчарова, сказал хирург.

Как же убедить Андриана Павловича?

— Мне так и так погибать. Вы не зарежете — кушинг доконает. А вдруг операция пройдет удачно?

— Нет, не проси. Ничего не обещаю.

Ушел Макар без конкретного ответа. Правда, с Андрианом Павловичем вообще трудно вести серьезный разговор. Больной приготовится к беседе, даже вопросы на бумажечку запишет, а он все смешает и с улыбкой выпроводит.

Но когда хирург считает нужным поговорить с тобой, то говорит кратко и конкретно, каждую мысль выдает скороговоркой, точно отсекает короткие пулетные очереди.

Теперь надо атаковать палатных врачей. Придется призвать на помощь бумагу, она часто бывает убедительнее любых устных доводов. Макар написал по пунктам все за и против операции.

Он вдруг представил, какое завтра будет у Зоианны лицо, когда отдаст ей свой меморандум.

Милая Зояанна! Бедная Зояанна: стоит ему только заикнуться об операции, как у нее тотчас портится настроение. Смотрит на него такими грустными глазами, будто она вовсе и не врач, а сестра твоя. Земной поклон тебе, дорогая Зояанна, за твою доброту, за участие, за твое отзывчивое сердце. И — за бессилие твое. Макар знает, что она здоровья ему и грамма не прибавит — она и сама этого не скрывает, не старается убедить, что только от нее придет к нему исцеление (чем грешат многие), но чем-то очень ему помогает. Макару крупно повезло с Зоеанной.

Было двенадцать часов дня, а в палате сумерки — такая пурга разыгралась на дворе. Макар подошел к окну, прислонился лбом к прохладному стеклу. Из-за беснующейся вьюги домов на противоположной стороне улицы совсем не видно. А на тротуаре пешеходов почти столько же, как в обычный, погожий день, только все они спешат, будто каждый опаздывает куда-то... А метель-то, метель разгулялась — никакого удержу ей нет. Одеться бы потеплее — да и нырнуть в эту снежную круговерть, глотнуть бы поглубже ветру со снегом, закричать во всю глотку...

Только вместо всего этого сквозь видимые щели чуть тянет свежая струйка воздуха.

На следующий день Макар отдал Зоеанне свой меморандум.

— Вы по-своему правы, — сказала она, пробегая глазами бумагу. — В вашем случае это, может быть, главный козырь.

— Значит, лед тронулся? Тогда я с Андриана Павловича с живого не слезу.

А хирург, кажется, стал избегать Овчарова. Но Макар все же поймал его.

— Некогда мне сейчас, некогда, — хотел было тот отмахнуться.

— Если вам некогда, я поймаю вас в другой раз. Но от этого разговора вам не уйти.

Андриан Павлович улыбается, качая головой, садится и Овчарова приглашает сесть. Долго молчит. Потом сильно мнет нижнюю челюсть.

— Значит, решил оперироваться, — не то спрашивает, не то подводит итог, вздыхает. — А я не могу тебя оперировать — я сделаю из тебя второго Медынцева. Понимаешь? — говорит спокойно. Это была не жестокость, а правда — одно из достоинств, за которое Макар любил Андриана Павловича. Он может довериться лишь тому, кто может сказать больному «я не знаю» и даже «я тебя зарежу» — если так оно и есть на самом деле. Да Андриан Павлович и сам знал, кому можно так говорить.

— Все равно режьте.

Хирург молчит.

— В конце концов, я распоряжаюсь своей жизнью. Мне надоело это жалкое существование. Сейчас я живу лишь потому, что надеюсь на улучшение. А такая жизнь, как сейчас, не только не дорога мне — она мне не нужна! Это мне вот так, — он провел рукой по горлу, — надоело: боишься махнуть рукой, съешь лишнюю крошку, выпить лишнюю каплю. Не жизнь, а слезка за самим собой! — Макар уже начинал злиться, что не может убедить, вынудить Андриана Павловича на операцию. Достал из кармана письмо жены, где она пишет: «Я сейчас ни богу свечка, ни черту кочерга», и молча протянул хирургу. Тот прочитал, задумался, выпятив свои узкие губы. Тяжело вздохнул. И решительно хлопнул по столу ладонью:

— Ну что ж, если тебе так не терпится на тот свет, иди к директору института: разрешит — буду оперировать.

У Макара гора с плеч свалилась: Андриан Павлович от своего слова не отступится.

— А где и когда я могу к ней попасть?

— Ладно, уговорил. Сам пойду к ней. Постараюсь ей тебя показать.

Больной ушел, оставив хирурга с невеселыми мыслями. Овчаров вырвал-таки его согласие на операцию. Когда думаешь о больном, понимаешь, что операция необходима. А посмотришь правде в глаза — он погибнет, если не на

операционном столе, так после операции, как Медынцев. Черт побори, что же делать? Голова кругом идет. Куда ни кинь — кругом клин... письмо показывал... А домой ему надо вернуться только здоровым. Все хотят быть здоровыми.

* * *

Теперь все свободное время Андриан Павлович пропадал в читальне или у патологоанатомов. Он готовился. В институте не проходило ни одной пятиминутки, чтобы на ней не говорили об Овчарове. Зояванна, докладывая о его состоянии, всякий раз с дрожью в голосе говорила в заключение:

— Снова спрашивал, когда будем оперировать.

Не только Андриан Павлович — многие врачи института ломали голову: как быть с Овчаровым и с другими, для кого повторная операция — и единственная надежда и смертельная опасность. Для всего института сейчас это был вопрос номер один.

Несколько дней стояла такая солнечная погода, что глазам больно было смотреть в окно. А сегодня — будто солнце застряло где-то у горизонта, увязло в мягком снегу и никак не может взойти; уже скоро «на работу» (на обед) идти, а в палате — хоть свет включай. Снег идет большими хлопьями, тихо, одуванчиковым пухом опускаясь на землю, тотчас стирая четкость только что проложенных следов. Снег уже громоздится сказочными шалками на ветвях кленов, березок, елочки в пышных белых одеяниях красивы неправдоподобно, словно в сказку идти собрались.

После обеда пришла Зояванна. Она была грустно взволнована:

— Овчаров, поздравляю! Решили вас оперировать. Молодец, добились своего! Но прежде надо похудеть килограммчиков на двенадцать.

Макар улыбнулся:

— У нас в училище был девиз: наша главная задача — не похудеть! А теперь: главная задача — похудеть. Я же говорю, что у меня давно все не как у людей.

С ее уходом в палате воцарилась небывалая тишина: погода была такая сонливая, что убаюкала даже тех, кто страдал безнадежной бессонницей.

Когда Макар проснулся, на улице

уже зажглись фонари, хотя не было и пяти часов. Он занял место на «наблюдательном пункте» — у окна. Снег все идет... В холодном, будто лунном, свете фонарей все вокруг преобразилось, стало совсем неземным... Над бескрайним белоснежным, сквозь колышавшийся нетканый тюль бесшумно проносятся раскаленные карминные угли, неведомые светлячки белого и желтого огня... что из того, что это огни мчащихся автомашин — снег и ночь их, как и все на свете, превратили в добрую сказку, накинув свои неотразимые чары... Что за снег! Что за чудный вечер!.. Людей на тротуарах становится все больше, они, обсыпанные снегом, призраками движутся в колеблющейся сетке хлопьев, будто паря в воздухе... А с мутно-черного неба все сыплется и сыплется... Люди оживлены необычайно, резвятся, догоняют друг друга, толкаются, друг дружку обсыпают снегом — и все это плавно, неправдоподобно.

Уснул Макар глубокой ночью.

Он уже спал, когда пошел мокрый снег с дождем, забарабанил по стеклу.

...А Макар уже мерно покачивается в седле. Он едет вдоль границы, ветер дует в грудь, дождь хлещет по лицу, по кистям рук, не прикрытым плащ-палаткой... Так он ехал долго-долго — пока капли стучали в стекло. Но вот дождь прекратился, и Макар проснулся. Ощущения во сне были так сильны, что создавали иллюзию реальности, он испытывал истинное блаженство... и вместе с тем необычайно остро сознавал, что ему уже никогда не придется сесть на коня и вот в такую ненастную ночь поехать на границу... Он бы полжизни отдал за то, чтобы наяву испытать то, что пережил во сне. Но ведь было же все это, было!

Граница... Сколько бы раз ни приближался к ней, не ослабевает ощущение, которое он называл «от нуля до бесконечности»: налево один только шаг и — нога коснется чужой земли. А направо — тысячи и тысячи километров, за всю жизнь не обойти. И все это — твоя страна. Один шаг — и тысячи километров! Порою кажется, что стоишь на краю пропасти, хотя там растут такие же травинки и порхают такие же воробьи, как и здесь... Это неповторимое ощущение обостряется, когда приближаешься к границе ночью. Спят города, села, миллионы

людей, живущих в них... тебя охватывает такое чувство, будто бодрствуете одни вы с напарником, одни на всем белом свете.

Макар находился все в том же состоянии обостренного, почти физического восприятия всего прошлого.

...Вот он уже болтается в кузове машины, мчащейся по ухабистой дороге. Он крепко вцепился в край борта, чтобы не так кидало и колотило. Мимо проплывает однообразный осенний туркестанский пейзаж. Здесь еще виднеется какая-никакая растительность, правда, давно уже высохшая, слева видны сыпучие пески, простирающиеся на многие сотни километров, справа — пойма реки, поросшая огромными ежами перекапти-поля и кое-где — низкорослым кустарником, вдали, на самом горизонте, в голубоватой дымке едва вырисовываются зубцы гор... Он едет на заставу. Как сложится судьба? Как пойдет служба? Вот он и вышел на свою главную дорогу в жизни, он — офицер, назначен заместителем начальника заставы. Так что же его ждет? Эти мысли вновь и вновь возвращаются к нему, наплывают, как эта дорога, что бесконечной лентой течет под колеса и, если оглянуться назад, вытекает из-под машины, как из-под моторной лодки — даже пенится клубами скупой осенней туркменской пыли — и уплывает назад. Когда машина подъезжала к заставе, с востока уже надвигались сумерки, и поэтому он увидел дувал, опоясывающий двор заставы, и все заставские строения, когда подъехали совсем близко. Машина лихо вкатила в ворота и остановилась у крыльца канцелярии... А какая там летом жарница! Уже в начале мая солнце заработало на полную мощность и за несколько дней спалило всю траву, а кое-где оставшиеся стебельки стали хрупкими, ломкими. Земля так раскалена, что пропекает ноги сквозь толстую подошву яловых сапог. И мысль о том, что где-то есть ледники Антарктиды кажется просто фантазией. С восходом солнца все живое прячется, зарывается в песок, пережидая зной, который сушит и обжигает дыхательные пути и лишь вечером выползает на кормежку и порезвиться. В мощных восходящих потоках раскаленного воздуха свет преломляется и потому кажется, что колышется не только далекий горизонт, но даже высохшая трава на относительно близком расстоя-

нии извивается, словно водоросли в воде... И в такую погоду пограничники ушли в наряд. И сейчас уходят... Без него, без Макара.

«До сих пор не ответил комсorghу заставы», — вспомнил Макар.

В последнем письме Овчаров писал Ване Истомину, другу по пограничному училищу, как хирург долго не соглашался оперировать его, но на днях, наконец, дал согласие. Это он впервые поведал Ване о том, насколько серьезно его положение.

А дня три назад с заставы пришел ответ. «Думаю, ты меня извинишь за то, что я прочитал твое письмо личному составу, — писал Ваня. — Я наперед знал, что на солдат оно произведет впечатление. Но что примут так близко к сердцу... честное слово, не думал. Видел бы ты, как они слушали! Впрочем, комментарию, как говорится, излишни: сам все поймешь из письма комсorghа, которое ты уже нашел в этом же конверте».

Макару больше невоготу было лежать. Он уже писал мысленно ответ... Нашарил на тумбочке бумагу, ручку, крадучись, чтобы никого не разбудить, вышел из палаты и отправился в холл.

«Дорогие друзья! Вы не представляете, какую подарили мне радость. Я все эти дни жил границей. И до сих пор не теряю надежды когда-нибудь снова вернуться туда, быть рядом с вами.

А вот насчет того, будто я «совершаю подвиг», вы совсем неправы. Я не считаю свое поведение героическим, необычным, из ряда вон выходящим — я считаю такое поведение оптимальным, что ли, для любого человека. Только так!

У Льва Толстого в «Севастопольских рассказах» есть такие слова: «Выходя из этого дома страданий (лазарета), вы непременно испытываете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но, вместе с тем, в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества, и спокойно, без нерешимости пойдете на бастоны».

Сознание своего ничтожества... Я об этом же — еще проще: подумаешь, пуп Земли! Пока ты мнишь себя таким пупом, у тебя только и забот — дрожать за свою бесценную жизнь: что же будет с Землей, если она лишится пупа? Я давно пришел к выводу: чем меньше носишься со

своею особой, чем меньше потакаешь себе — тем ты более жизнестоек. Я знаю, что если меня не станет, Земля в другую сторону не начнет вертеться, более того: моего исчезновения человечество даже не заметит — будто никогда и не было Овчарова. То есть, говоря словами Толстого, я — счастливый обладатель сознания своего ничтожества, и потому спокойно, без нерешимости иду на бастионы... А там, в бою, это сознание как-то неуловимо, само собой переходит в чувство человеческого достоинства.

Вот так, дорогие товарищи. И только так!

А паниковать, увилывать от борьбы с опасностью, которая прет на тебя, — оправдывая это «естественной боязнью смерти» — значит быть врагом самому себе.

Разумеется, здесь приходится немного напрягать свою волю, следить за собой больше, чем в обычной обстановке. Ну, да ведь я не «маменькин сынок», а пограничник, боец — пусть бывший. То есть пограничник-то я, конечно, бывший, а вот бойцом не бросаю себя считать. И большое вам спасибо за все! А если уж говорить о настоящем мужестве, я могу вам назвать такого человека. Это мой хирург. Я настаиваю на операции потому, что мне некуда деваться. А вы представьте, вдумайтесь, каково будет ему, если я уйду вслед за Мединцевым (о нем я писал в предыдущем письме)!

Я ставлю себя на место хирурга и не могу с уверенностью сказать, согласился ли бы я на его месте оперировать.

Я надеюсь на выздоровление, но не исключено, что дни мои сочтены. Однако смерть, как таковая, совсем не пугает. Грустно только, что намеченная на всю жизнь программа останется всего лишь программой. Будь у меня хоть немного здоровья, я бы показал, как можно распорядиться жизнью...»

И снова его мысли уносятся в прошлое. Уезжали они с Диной весенним солнечным днем. Их провожали почти все, кто был на заставе. Вот шофер завел мотор, машина тронулась, выехала за ворота, миновала шлагбаум, стала набирать скорость — заставка и провожающие становились все меньше и меньше... Вдруг в небе расцвели разноцветные букеты ракет — так провожают тех, кто навсегда покидает заставу. У Макара сжалось сердце и на душе стало так,

как бывает, когда он слушает полонез Огинского, когда осенним днем слышит курлыкание журавлей. Глаза заволокло пеленой, сквозь которую он смутно различал все новые и новые вспышки ракет... Вот уже и не видно заставы, только в той стороне с небольшими промежутками взлетал и разгорался в бескрайнем небесном просторе то красный, то зеленый огонек... И, как флаг, в вышине распустилось и зависло в безветрии оранжевое облако дымовой ракеты...

* * *

Володю Борзовикова увезли в больницу имени Боткина, он заболел желтухой.

В тот же день в палату привели новенького, Егора, паренька лет четырнадцати. У него были жесткие, непослушные, белые волосы, будто сделанные из капроновой жилки. Макар стал называть его ершиком. Это был истощенный болезнью паренек, хотя ел очень много — он ел почти непрерывно (эту прожорливость породил зуб). Родственница едва успевала приносить ему новые авоськи еды.

— Не в коня корм, — говорил ему Макар. — Бери с меня пример.

Ершик был тихим, безобидным. И Зануда стал его допекать. Егор молчал, но Макар видел, что тому тяжело сносить эти, на первый взгляд, безобидные замечания и наставления.

Если разносили лекарство, Зануда говорил Егору:

— Ты знаешь, что такое лекарство? Нет, ты не знаешь. Ты ничего не знаешь. А я знаю, я работал на фармацевтическом заводе. Лекарство — эта химия, атрава. И мы пьем эту араву.

Ершик молчит.

— Почему ты не отвечаешь? Я старше тебя, и ты должен мне отвечать, если я с тобой разговариваю.

— А что мне говорить? Я ничего не знаю.

— Да, ничего не знаешь. А я все знаю.

Доходило до того, что он оскорблял Ершика. Макар вступался за парня.

— Так он же маладой! — Зануда считал этот аргумент исчерпывающим.

— Ум накапливается далеко не пропорционально прожитым годам.

С Макаром Зануда не спорил, даже спешил согласиться с ним.

Изо дня в день Серго встречал врача лавиной вопросов, и деликатная Зояванна, изнемогая, каждодневно объясняла ему одно и то же. Ей приходилось призывать на помощь всю свою изворотливость, чтобы как-то закруглить затянувшуюся лекцию и уйти из палаты. Было противно, отвратительно до омерзения видеть, как мужчина в расцвете лет, атлетического сложения, обладатель сросшихся бровей, носа с горбинкой и мужественного подбородка скулит, ноет, заискивает, дрожит от ужаса из-за всякой болячки. Он не видел ничего предосудительного в том, чтобы поминутно отвлекать врача своими вопросами, когда она занимается другими больными. И Макар, невзирая на то, что Зануда был намного старше, не стесняясь, резко его обрывал.

Как-то во время обхода Зануда сказал Зоеванне:

— Почему это именно я забалэл?

— А не ваш сосед? — закончил за него Макар.

— А вы, Макар Иванович, что, рады, что именно вы заболели, а не ваш сосед? — спросила Зояванна. В глазах у нее плясали бесики, мол, что ты на это скажешь.

— Нет, я не радуюсь. Просто так рассуждаю: если есть на свете болезни, то почему я не могу заболеть, как болеют многие? Считаю это неприятным, но вполне допустимым фактом. И по этому поводу не удивляюсь и не рву на себе волосы.

— Классическое объяснение, — говорит удовлетворенная ответом Зояванна.

А Зануде поболеть — медом не корми. Для него просто удовольствие вдруг лечь и застонать:

— Ох, сердце балыт. Егор, позавы сестру.

По неписаному закону, если больной просит, то вызываешь сестру или врача, невзирая на то, питаешь ли ты к нему симпатию или антипатию. Ершик идет за сестрой. Та приходит, долго считает пульс. Говорит:

— Пульс нормальный.

— Что ж я, притворяюсь, да? Ат чего ж у меня сердце балыт?

— Полежите, может, пройдет.

Сестра уходит, а Зануда буквально через минуту уже бегаёт по палате.

И еще одной удивительной особенностью обладал Зануда: он думал вслух.

Отвернувшись к стенке, Макар знал, что тот сейчас делает и даже что намерен делать: идти в столовую или в противоположный конец коридора.

В больнице у Макара был плохой сон, но бессонницу он переносил легко. Обычно он тогда о чем-нибудь думал. Вот и сейчас не спится... Зануда на судьбу жалуется: почему заболел именно он!

Скоро утро, начинается светать. Дни стали совсем короткие. А ночи такие длинные! Чего только не передумаешь за ночь, если не спится. Завтра надо договориться, чтобы дали все необходимое для оформления новогодней газеты.

Сестра разносит термометры. Значит, уже совсем утро.

Профорг не возражает против новогодней газеты. Но когда Макар предъявил ей список, что для этого нужно, да вдобавок сказал, что в палате он не сможет работать, лучше бы где-нибудь в кабинете, она усомнилась в искренности его намерения.

— А зачем вам елочные игрушки? Вы что, на стенгазету их повесите?

— Я их потолку и сделаю заголовок.

— Делали бы обыкновенную, без всяких там фокусов.

— Обыкновенную вы и сами состряпаете. А я такой шедевр выдам — вся Москва сбежится смотреть. А вам, может, благодарность объявят.

— Где же я возьму для вас отдельный кабинет?

— Ну что ж, если вы не можете найти, тогда я сам попытаюсь, — его осенила мысль.

Как-то Вера Андреевна, его первый лечащий врач, попросила сделать на ватмане несколько таблиц.

У нее был маленький кабинет, там он и работал. Работой она осталась очень довольна и говорила Макару, что считает себя перед ним должницей... Ну что ж, долг платежом красен. Он разыскал Веру Андреевну, объяснил ей, в чем дело, и она без слов дала ему ключ от кабинета.

* * *

Сейчас Овчаров почти не вспоминает об операции. Он весь поглощен работой над стенгазетой. Она на трех листах ватмана. Уже вырисовывается общий вид. Вера Андреевна, заглядывая иногда в свой кабинет, просто в восторг приходит:

— Надо же, из березовых чурок сло-

жить заголовки... А зайцы-то, зайцы! Захмелели! В одной руке бокал, в другой морковка... Вам надо учиться на художника!

— Для этого нужен талант, а у меня только заурядные способности.

— Вы никому-никому не показывайте, пока не закончите. Она произведет колоссальный эффект. Сколько выдумки! А труда сколько!

— А чем мне еще заниматься? Все равно делать нечего.

Профорг несколько раз приходила посмотреть, что у него получается. С каждым посещением ее интерес к газете возрастал, и она, наконец, из тормоза превратилась в помощника и предоставила Макару все, что было необходимо для работы.

Утром 31-го декабря к газете было не пробиться.

— А как он Андриана Павловича изобразил! Крутит мясорубку, в нее падают пузатики, а вылетают дистрофики.

— Никто бы не подумал, что это сделано руками человека, который не знает, что с ним будет завтра.

Приходили больные из других палат, чтобы выразить восхищение, поздравляли Макара с Новым годом, желали, чтобы этот год был для него самым счастливым.

Приходили сотрудники института и тоже поздравляли, желали и прочее.

Весь день в палате было шумно, празднично.

Первый рабочий день наступившего года был для Макара счастливым: пришла Зояванна и сказала, что его переводят в хирургическое отделение. Стали прощаться.

— Вы уж извините... я тут частенько спорил с вами, возражал.

— И молодец, что спорили, — преврала она его извинения. — Мне было легко работать с вами. А что сначала у нас бывали маленькие конфликты — так то мы просто сначала не поняли друг друга.

Макар и Боровиков снова в одной палате, Володю, когда он возвратился из боткинской больницы, сразу положили в хирургию: если Овчаров «проскочит», того тоже будут оперировать. Макар смеется: ты, брат, в дублиеры ко мне записан...

Не успел Овчаров на новом месте сложить в тумбочку свои немудреные по-

житки, как в палату вошел Андриан Павлович. Встал у двери и смотрит на Овчарова грустными глазами. Макар смотрит на него, ждет, что он скажет. Но хирург только тяжело вздохнул и ушел.

Придя в ординаторскую, сел за стол, стал разбирать «истории болезни». Вошла Алла Израилевна.

— Что это ты, Андриан Павлович, такая бяка сегодня? — спросила она со смешком, как это водится в хирургическом отделении.

Андриан Павлович посмотрел на нее, тяжело-тяжело вздохнул:

— Как подумаю, что надо оперировать Овчарова — сердце останавливается.

— Да, тяжелый случай. Но ничего не поделаешь: надо.

— Да, ничего не поделаешь, надо, — как эхо, задумчиво повторил Андриан Павлович. Отодвинул в сторону папки. — Садись, Алла Израилевна, давай еще раз продумаем весь ход...

Макар был рад операции как ребенок, которому сказали, что завтра его поведут на елку. И понедельник ждал с таким нетерпением, с каким ребенок ждет Новый год. Раздумья, сомнения, тревоги — все осталось позади. Все уже сто раз взвешено и пережито. Коль разрешили операцию, значит есть надежда. И потому — вперед, только вперед!

Это был апогей бесшабашного азарта: посмотрим, кто кого!

...В понедельник он проснется в новом мире — светлом-светлом, — где все ему будет говорить: с новым счастьем! Даже не верится.

Пытался пугать себя, но — страха не было. Ему становилось просто смешно, что он сам себе говорит: смотри, какая бука.

«Ну, а если... Не жалко оставить все это? — спросил он себя, как бы отводя мысленный взор в сторону, туда, где жизнь бьет ключом. — Смотри, с чем ты тогда расстанешься, и уже — навсегда!»

Что ж тут мудрить или обманывать себя: жалко! — так ведь я — еще живой — уже лишен всего этого! Потерявши голову, по волосам не плачут. Или вернуть, — он мысленным взглядом окинул все, что хотел бы вернуть, — или...»

Он понимает, что может — и очень даже просто — стать «вторым Медынцевым». И тогда его беспокоило только одно: чтобы близкие не видели его вот таким... Так они будут знать, что он болел и умер. На расстоянии они легче переживут. А если увидят — воображение долго будет рисовать им ужасы, которых на самом деле и не было... Он написал письма родителям и жене, с неизменным юмором в свой адрес, как он всегда писал о своем нелепом положении, объяснил сложившиеся обстоятельства, предупредил, что это он настоял на операции и потому врачи не виноваты в его смерти, и что завещал на похороны никого не вызывать. Еще написал, что когда получат эти письма, его уже не будет в живых... Вложил их в подписанные конверты и отдал Володе Боровикову.

— Если зарежут, отправь. Только, смотри, не отправь нечаянно, если выживу, а то наделаешь делов! — Макар облегченно вздохнул, как человек, решивший трудный, щекотливый вопрос.

О том, как ляжет на стол, как будут давать наркоз, совсем не думалось. Все это уже знакомо, интриговало только в первый раз. Его мысли вновь и вновь устремлялись в будущее: каким приедет домой, кого первого встретит, какое произведет впечатление на Дину, на Сережку... И представлял себя очень стройным, подтянутым... в офицерской форме.

Принесли письмо. С заставы. «Когда зачитывали ваше письмо, — писал комсорг, — каждому вдруг захотелось жить полнее, лучше, словно до этого не ощущал вкуса жизни, считал свое бытие как нечто само собою разумеющееся, не заслуживающее удивления или восторга, что только так и должно быть и не может быть иначе. Каждый из нас постиг всю глубину сознания, что жизнь — это огромное счастье, чудо, которым надо дорожить...»

Ваня Истомин приписал: «Комсорг хоть и красиво, но верно сказал. Не было ни одного равнодушного. Мне даже захотелось написать стихи. Боюсь, ничего не выйдет. Приедешь — вдвоем ослим, придумаем такие рифмы...»

Это письмо для Макара — что призывное пенье боевой трубы для солдата: в тебе ту же закручивается пружина, и тогда ты можешь все.

...Мыслями Макар уже на заставе...

В понедельник Макару казалось, что день воскресный — такое праздничное настроение было у него.

Часов в двенадцать пришла Зина:

— Вы готовы, Макар Иванович?

— Всегда готов, Зинка-корзинка! — отсалютовал Макар.

— Гражданин, попрошу не оскорблять, — притворяется обиженной Зина.

— Зиночка, золотце, прости, это я от радости, что ты пришла с доброй вестью.

— Так уж и добрая, — с сомнением хмыкнула она. — Мне бы век такой вести не услышать — и не соскучилась бы.

Когда она везла его в операционную, почти все больные сидели по палатам, им было слишком тяжело видеть обреченного. Все знали, что ему пообещал Андрианчик.

В «предбаннике» (так больные называли закоулок перед операционной) Зина спросила:

— Признайся честно: страшно?

Макар посмотрел на нее удивленно. Хотя над этим, наверно, каждый задумывается. У других не спрашивала — боялась вернуть больного к мысли о предстоящем. Или потому, что он так спокоен? Или — что после Медынцева?

— Нисколько не страшно. Будто и не меня собираются оперировать.

— Не правда, — не поверила Зина. — Я понимаю, можно владеть собой, ни лицом, ни голосом не выдать волнения, но где-то в глубине все равно дрожь пробирает...

— Не знаю, выдает ли мое лицо волнение, но голос, когда я волнуюсь, всегда выдает, — Макар протянул руку ладонью вверх. Она считает пульс — пульс нормальный, рука сухая, не дрожит.

Он спокоен. Все это Макар проделал, от души улыбаясь. На сердце легко и светло. Он не сумел бы ей объяснить, почему так. Сам — знает, а вот для Зины не смог найти даже этих несколько слов, что бороться ты можешь лишь в том случае, если найдешь в себе мужество увидеть себя ничтожеством: тогда у тебя будет и ровный пульс, и ни рука, ни голос дрожать не будут.

И все-таки: почему в душе нет и тени волнения? — будто гарантию дали, что с ним ничего не случится. Для него самого это олимпийское спокойствие тоже чуть-чуть загадка. Все-таки нет, он не считает себя ничтожеством. А жизнь — прекрасна.

* * *

Начав операцию, Андриан Павлович не смог сдержать невольный вздох: все проросло спайками, топография кровеносных сосудов и внутренних органов нарушена в результате первой операции. Работать скальпелем приходится почти наугад: всё до такой степени видоизменено, что не знаешь, что режешь. Он продвигался с осторожностью сапера, колдующего над миной с дюжиной сюрпризов — от одного неверного движения инструментом может оборваться человеческая жизнь.

Работают молча. Слышны только негромкие команды хирурга, изредка звякнет инструмент. От напряжения Андриан Павлович обливается потом, на лопатках халат потемнел от влаги, и так — час за часом. Но он утратил чувство времени. Операционная сестра часто марлей вытирает ему лицо.

Душно. Над головой пышат жаром мощные осветительные лампы, а проветривать нельзя: перед операцией воздух стерилизуют кварцеванием, открыть форточку — с потоками свежего воздуха в рану может попасть инфекция. Сконструировать же компактную установку для кондиционирования воздуха со стерилизатором некому — все заняты более важными делами: одни строят космические корабли, другие мудрят над экстракомфортабельным оборудованием для модернизированной пивной... Нашелся бы среди хирургов юморист: взял бы, да и забыл дать какому-нибудь конструктору наркоз, чтобы тот посмотрел, в каких условиях его оперируют — может, среди его глубоких извилин появилась бы еще одна...

Когда наркоз дает Алла Израилевна, хирург не беспокоится о пульсе и давлении больного — полностью полагается на «завтемсветом» (это Овчаров так окрестил ее профессию). Она ритмично сжимает резиновую «грушу» наподобие волейбольной камеры — «дышит» за больного. И поминутно проверяет давление, пульс, показания которых заставляют ее часто принимать экстренные меры.

За операцией следит сам профессор Николаев.

Наконец Андриан Павлович добрался до того места, где должен быть надпочечник. Наступил самый ответственный момент. Даже дышать все стали ос-

торожно: вот он, «взрыватель». Андриан Павлович осторожно ощупывает его...

— Пожалуйста, дышите потише, — просит он анестезиолога, — а то не могу перевязать вену.

Алла Израилевна убавила дыхание больного.

— Еще убавьте, — просит хирург.

— Нельзя. Убавила до минимума, — возражает Алла Израилевна.

Андриану Павловичу удалось благополучно «отключить взрыватель», он выделит надпочечник, перевязал короткую вену.

— Отключите дыхание.

Анестезиолог выполнила команду. Точными, осторожными движениями скальпеля хирург отсек надпочечник и извлек его из раны — в тот же миг Алла Израилевна включила дыхание, и Овчаров вздохнул полной грудью. Вслед за ним облегченно вздохнули все, кто был в операционной, распрямили затекшие спины, зашевелились, задвигались. Андриан Павлович не смог сдержать улыбку. Ее не было видно под марлевой маской, но каждый, кто взглянул бы на него, догадался, что сейчас переживает хирург: по распрямившимся плечам, по уверенно и ловко работающим пальцам.

Алла Израилевна, чтобы окончательно разрядить напряжение, сказала:

— Овчаров миллион выиграл.

— Чертов хохол, сколько он мне крову попортил, — проворчал Андриан Павлович, а рука ловко орудует зажимом с кривой хирургической иглой, в ушко которой вдет кетгут — он накладывает шов в том месте, где только что отсек надпочечник.

— Андриан Павлович, нехорошо кривить душой, мы же знаем, что он, — операционная сестра кивнула на расположенного Овчарова, — ваша симпатия.

«Уличенный», Андриан Павлович на какой-то миг сложил свои тонкие губы в смущенную, довольную улыбку, но не такой он человек, чтобы долго пребывать в состоянии смущения:

— Раз он вам такой хороший, так и зашивайте его сами. А я мою руки.

Поручив таким образом зашивание раны ассистентам, хирург снял окровавленный халат, наспех вымыл руки, мигом переоделся и отправился к директору института — показать трофей. Ему хотелось бежать вприпрыжку, как мальчишке — так он был рад, что надпочеч-

ник, забодай его комар, удален! Да еще после трагического случая с Медынцевым. Овчаров будет жить. Должен!

* * *

Косые лучи вечернего солнца освещают белые шторы на окне, это первое, что увидел Макар, когда пришел в себя, и первое, что подумал, было: «Вчера не в последний раз слушал радио...» И первое ощущение — это легкость во всем теле, будто хорошо-хорошо выспался. Нигде ничего не болит. И что самое приятное — совсем не болит голова. Последние месяцы утром он вставал и вечером ложился с головной болью, со звоном и шумом в ушах. Иной раз даже не верилось, что все это может когда-то кончиться. А сейчас голова не только не болит — она какая-то легкая и светлая. Раньше он все щурился, его раздражал свет, особенно искусственный, а сейчас хотелось пошире открыть глаза!

Будто он вновь родился.

Над ним склонилась Зина.

— Сколько длилась операция? — шепотом спросил Макар.

— Три часа.

«А тогда оба надпочечника за два часа с небольшим», — мысленно прикинул он.

В палату стремительно входит Андриан Павлович. У него не лицо — сплошная улыбка! Улыбался бы шире, да куда: уши не дают.

— Нашел, — почти выкрикнул он. Макар подозревает, что он уже заходил куда-нибудь в укромный уголок и там плясал от радости танец дикарей, — так сияло его лицо, так порывисты были движения.

— Как себя чувствуешь?

— Очень хорошо... легко... спасибо...

Хирург увидел, что на это вступление у больного ушли все силы, мягко положил руку ему на плечо и ласковым, хрипловатым голосом сказал:

— Лежи, молчи. Только поглубже дыши, чтобы пневмонии не было. Да ты теперь сам не меньше врачей знаешь, — поддел он Макара.

Почти все время Овчаров был в забытьи. Просыпаясь, видел возле себя то Андриана Павловича, то Аллу Израилевну. То сразу обоих.

Домой они не ушли и всю ночь почти не отходили от него. И следующие две

ночи Андриан Павлович провел в отделении, хотя жил рядом с институтом — состояние больного не внушало доверия.

Днем хирург работал, как всегда.

Навестить Овчарова приходили больные, врачи, медсестры других отделений, лаборантки, лифтеры: все те четыре часа, пока он был в операционной, они то и дело спрашивали друг у друга, у сестер хирургического отделения: «Ну как?» — но никто ничего не мог сказать определенного. А когда увидели сияющего Андрианчика, пролетевшего по коридору и нырнувшего в кабинет директора, — по, казалось, притихшим этажам института полетела весть: операция прошла успешно! Теперь каждый выбирал минутку, чтобы забежать в палату: удостовериться, помочь, улыбнуться больному, тащили лимоны, соки, минеральную воду, не утомляя вопросами, угадывали, хочет ли он смочить пересохшие губы, надо ли поправить подушку, подткнуть одеяло...

Через неделю прооперировали Володю Боровикова — Макар проторил ему дорогу. И у Володи три ночи ангелом-хранителем просидел одержимый Андрианчик.

Несколько раз к ним в палату приходила Зояванна.

— А вы говорили, нельзя оперироваться, — напомнил ей Макар.

Зояванна молча пожала плечами, мол, было дело, и улыбнулась своей доброй грустной улыбкой.

— Зояванна, а что вы посоветуете мне делать дальше: удалять другой надпочечник или нет? — спросил он уже серьезно.

— Лечиться — так лечиться.

— Вас понял.

Макар уже начинал понемногу ходить, когда вдруг однажды утром снова что-то скис. Пришла сестра, сняла повязку... и тут же опустила ее на рану. Быстро вышла из палаты.

Через минуту вернулась с Андрианом Павловичем. Снова сняли повязку, что-то внимательно рассматривают.

Макар насторожился, весь внутренне подобрался, точно ждет выстрела из засады, он готов к самому плохому. Спросил: — Что там еще?

— Шов разошелся. Лежи и не вставай, а то кишки растеряешь, запрещаю даже садиться.

Андриан Павлович озадачен: все шло так хорошо — и на тебе.

Макар взял небольшое зеркало, через него осмотрел рану. Здорово раскроили! Да через такую прореху не то что надпочечник — все внутренности вынуть можно.

— И долго придется лежать?

— Эта дыра не скоро зарастет, — недовольно пробурчал Андриан Павлович.

— Ничего, на живом заживет, — сказал Макар беззаботно. Он в самом деле уверен, что если надпочечник удален, то в конечном счете все будет хорошо. А на идеальный послеоперационный исход он и не рассчитывал.

...У него снова повышается давление — оставшийся надпочечник работает удвоенно.

Очень скучает Макар по Сережке. Чтобы хоть как-то смягчить эту тоску, чтобы передать сыну хотя бы частичку своей ласки, он пишет для него стишки, рисует к ним иллюстрации и посылает в письмах, подписывая: «Овчарову Сергею Макаровичу, лично в руки». Володя Боровиков переписывает его вирши, через копирку сводит рисунки и отсылает их своей сестренке на далекий Сахалин. И всегда приписывает, что это сочинил и нарисовал дядя Макар, с которым они здесь вместе «отдыхают».

Когда Макар был дома, Сережке исполнилось три года, он с удовольствием слушал книжки, которые читал ему Макар. Однажды, рассказывая сказку, Макар одного мальчика, героя сказки, назвал Сережей, сынишка очень обрадовался. Тогда отец стал придумывать истории, героем которых был мальчик, наминавший Сережку. Он был и положительным, и отрицательным — когда чего заслуживал. А за сказками пошли стишки. Пусть самодеятельные, пусть корявые, но мальчишка был в восторге.

Однажды в палату зашла лифтерша со своей внучкой. У Макара даже мурашки в пальцах забегали — так вдруг захотелось погладить детскую головку, заглянуть в бесхитростные и вместе с тем лукавые глазенки... Он спросил, как ее звать. Но девочка испуганно прижалась к бабушке и молчала. Макар подмигнул ей и показал язык. Девочка не удержалась — улыбнулась и тоже пока-

зала язык, но тут же застеснялась и спрятала лицо в бабушкин подол.

— Так как же тебя звать? — снова спросил Макар.

— Таня...

— Танечка, хочешь, я тебе стишки прочитаю, картинки покажу?

Девочка кивнула головой и приблизилась.

Теперь всякий раз, придя к бабушке на работу, Танечка бежала к дяде Макару и просила почитать ей стишки, рассказать сказку. И Макар с удовольствием выполнял ее просьбу, другой раз не умолкая и час и два.

А однажды она вошла в палату как-то бочком и встала у стенки, держа руки за спиной.

— Дядя Макар, пляши!

Он поддержал игру:

— Я ногами не могу. Можно руками?

Танечка согласно кивнула.

Макар помахал руками, качаясь на панцирной сетке.

— Теперь давай письмо. В армии так положено.

Девочка подала конверт.

— И письмо солдатское! — обрадовался Макар и залпом прочитал его — словно проглотил.

— Хорошо получать письма от друзей, — сказал Володя.

Володе Боровикову удалили и правый надпочечник. Когда наступает недостаточность, он раскисает, начинает плакать и ругаться.

— Знал бы, что так будет, ни за что бы не дал резать второй надпочечник. А теперь всю жизнь глотай таблетки.

— Вот придет Андриан Павлович, ты потребуй, чтобы обратно вставил, — подшучивает над ним Макар.

Но стоит Володе принять таблетку, как тошнота и прочие неприятные ощущения исчезают, и он уже радуется, что у него не болит позвоночник, и что вообще так жить можно.

— Ты же только что плакал, что теперь всю жизнь таблетки глотать.

— А что здесь такого? Всю жизнь обедаю и чай пью. Заодно и таблетку съем, — беспечно отвечает Володя.

Живут они дружно. Утром обычно кто-нибудь из них спрашивает:

— Ты спишь?

— Ага, — громко отвечает другой. — А ты?

— Я тоже, — и оба беззаботно хочут.

С Володей они, кажется, уже обо всем переговорили — времени для этого было предостаточно. Он неплохо учился, и физически был крепок, уже баловался ружьишком — у них на Сахалине богатая охота. А с пятнадцати лет скитается по больницам. Отстал от своих сверстников. Этой осенью пошел в десятый класс, но болезнь решила по-своему...

— А девушка есть? — как-то спросил Макар.

— Нет, нету... — смутился Володя.

— Никто не нравится?

— Да нет, почему же? Нравятся... А как подумаю, что надо будет сказать, что больной... Кому я такой нужен?

В это время в палату вошла Нина-люкс.

— Нина, как думаешь, может девушка полюбить нашего Володю?

— Этого афериста? А почему бы нет? Будь он постарше — или я помоложе — я бы сама в него влюбилась.

— А вот он сомневается.

— Ты мне эти шуточки брось! — пригрозила она. — Сегодня — больной, завтра — здоровый. С кем не бывает. Была бы душа хорошая. Конечно, многим подавай только красивых, чтобы парень-люкс. А другая в человеке душу ценит. Это потруднее. Зато надежнее.

«А кому я, больной, нужен?» — кольнула мысль.

Нина брала у Володи кровь из вены и не заметила, как на минуту Овчаров посерьезнел, а когда обернулась, он все так же улыбался, намереваясь спросить, кто кому должен говорить спасибо: Володя ей — за то, что она взяла у него кровь, или она Володе — ведь он дал ей свою кровь, а не что-нибудь.

— Макар Иванович, ты хоть умеешь быть сердитым? — спросила Нина.

— Умею. Но лучше меня не сердить. Да и не хочу я быть сердитым. Мне больше нравится быть веселым. Нина, дорогая, ведь моя улыбка — мое главное и единственное оружие. Попомните мое слово: кушинга я одолею, и одолею улыбкой. Разве ради этого не стоит улыбаться?

— Стоит, — соглашается Нина. — А вы, Макар Иванович, философ.

— Есть маленько, грешен. От скуки мастер на все руки, — балаганит он и подмигивает ей.

Макару разрешили вставать. Теперь они с Володей соревнуются: кто из них медленнее ходит.

У них в палате освободилась койка, и к ним положили старого знакомого, Зануду. У него щитовидка. Ему и раньше предлагали оперироваться, но он отказывался. Однако болезнь свое берет: Зануде пришлось вернуться и просить, чтобы снова приняли. На нем не больничная, а своя шикарная пижама, на ногах мягкие комнатные тапочки. Он знакомится с обстановкой, в хирургическом отделении он впервые.

Сестра делает Володе перевязку.

— Это кыто такая? — шепотом спрашивает Зануда у Макара.

— Перевязочная сестра.

— Она и меня будет перевязывать, да?

— Она всех перевязывает.

— О, девушка? Ка-кой маладой, симпатичный! — обращается он к ней. — Я хочу вас угастить. Угашайтэс, пажалуста, — раскрывает коробку дорогих конфет. Сестра отказывается. Зануда набирает горсть и высыпает ей в карман. Та смущается, благодарит.

Так он угостил всех, «кто будет его лечить»: «мелкую сошку» — всех из одной коробки, а для тех, кого считал поважнее, открывал новую.

Еду Зануде приносила жена. Когда дежурная сестра спросила, почему он не идет в столовую, он, нисколько не смущаясь, ответил:

— Я же не свинья, чтобы жрать балничную пищу. Я же готовлусь к апирации.

А Макар с Володей до этого и не подозревали, что они свиньи. Сказать Зануде пару ласковых? Да разве до него дойдет? Макар уже знает его. Это не ребенок, который по неопытности может что-то сказать не так, подобные взгляды и убеждения давно укоренились в нем, их и каленым железом не выжечь. Макар и Володя игнорируют Зануду — на праздные вопросы не отвечают, советуют обратиться к сестрам или в «мосгорсправку», возвратясь из столовой, вылизывают по-шутовски стаканы и обсасывают ложки, похрюкивая. Зануда понимает, что все это значит, но его это не смущает — он верен себе.

Жена приносила ему еду три раза в день. Тумбочка, стол, подоконник, стулья были завалены продуктами. Под койкой,

в раковине валялись огрызки. Санитарки не успевали убирать за ним, в его отсутствие проклинали его, но с ним разговаривали учтиво — он каждый день дежурной санитарке, не глядя, совал в руку рублевку.

— Насобачился давать чаевые, — сказал как-то Володя Боровиков.

Зануда и прежде жил в больнице роскошно, а, поступив в хирургическое, возвел себя в ранг великомученика и требовал от жены и персонала удесятенного к нему внимания.

Но вот Зануду прооперировали. Теперь жена ходила в магазин только два-три раза в день, а остальное время сидела подле него. Дежурная санитарка тоже почти не отходила от Зануды — теперь он давал по трешке, такса повысилась. Однако трудно было отрабатывать эту трешку.

Зануда был уверен, что за деньги можно купить все. Он не ходил в туалет, даже когда стал вставать. В палате сходит в «утку» — и идет гулять по отделению. «Утку» выносила жена или санитарка. Но жену он бранил за это — он же платит санитарке! А жена сгорала от стыда и, как могла, старалась помочь ухаживать за ним — вопреки его грубам, отвратительным выходкам.

Наконец, наступил день, когда Зануду выписали. Всем сразу стало легче, будто каждый расстался с больным зубом.

Санитарка тетя Клава довольна:

— Сейчас просто приятно заходить в эту палату. Были бы все больные такие. Люблю в мужских палатах убирать. У них чище. А женщины — грязнули. Другой раз кажется, что они понятия не имеют, что такое уборка. Дома же сами каждый уголок вылизывают, а здесь свинячат — не приведи господи!

Рана у Макара не заживает, даже сильнее стала гноиться. Андриан Павлович решил сделать ревизию, посмотреть, как он сам мрачно пошутил, не зашил ли там ножницы.

Никогда еще после операции Овчарову не было так тяжело, как после этой ревизии.

Ничего подозрительного Андриан Павлович не нашел.

Вот уже и Володя Боровиков выписался. А Макар все лежит.

На володино место положили старика. Он был плох совсем. В ту же ночь его

прооперировали. Старик мучился, стонал и временами широко открывал глаза, будто хотел понять, что происходит вокруг.

И у Макара дела не ахти. Проклятая рана. Опять обед ему приносят в постель.

Андриану Павловичу очень не хотелось вскрывать рану. Но другого выхода не было. Он пришел и сказал Овчарову, что завтра будет его оперировать.

Макар сел к столу написать письмо, потому что не известно, когда снова сможет это сделать. Он уже заканчивал писать, когда услышал страшные хрипы, доносившиеся из коридора. Раздался топот бегущих людей.

Когда с кем-либо из больных бывает плохо, об этом все узнают по топоту в коридоре: и сестры, и врачи, независимо от их ученых степеней, бегут к больному. И это не спешка — это оперативность, стремление оказать скорейшую помощь. Здесь нет эдакой нарочитой профессорской медлительности, показной невозмутимости. И нет суматохи, все действия слаженные и целенаправленные. Такие моменты чем-то напоминают Макару заставу, поднятую по сигналу тревоги, когда все делается бегом, но без малейшей суматохи или растерянности, где нет ни одного лишнего движения, где каждый четко выполняет то, что ему положено.

В открытую дверь было видно, как в сторону перевязочной пронесли сидящего на стуле старика. Он задыхался. Через несколько минут его внесли в палату и положили на койку.

— Выйдите из палаты, — сказал Овчарову дежурный врач, хлопотавший у старика.

— Я лучше лягу, — ответил Макар. Пока писал письмо, устал, ему стало хуже. «Если станет совсем плохо, со мной некому будет возиться, сейчас все заняты соседом», — подумал он и лег.

Старику сделали вливание внутривенно. Не помогает. Врач массирует грудную клетку.

— Еще в вену, — командует врач.

Сестра не может попасть иглой в вену.

— Чего возишься, коли! — кричит врач и выхватывает у нее шприц.

Но старик вдруг затихает. Лицо его становится неподвижно-восковым.

— Все... — выдыхает врач. — Вот не везет. Второй за неделю, и оба в мое дежурство...

Старика отгородили от Овчарова

ширмой. Макар лежит и думает. О чем? Так — ни о чем.

Другой сосед в палату не заходит.

Овчаров лежит и думает... Старика оперировал Андриан Павлович. Завтра он будет оперировать Макара.

А три дня назад умерла женщина, тоже кушинг, в дежурство того же врача, что сегодня дежурит. Уже ходила. Наверное, думать перестала, что может умереть, радовалась, что дело идет на поправку...

«Но у нее было больное сердце. А у меня мотор пока тянет...»

Ему никогда еще не приходилось быть вот так близко со смертью, тет-а-тет...

* * *

Уже двенадцать часов, а Овчарова не везут в операционную. Наконец приходит Андриан Павлович.

— Знаешь, давай сегодня не будем оперироваться, — говорит он. — У меня сейчас что-то нет настроения. Вчерашний случай... Я же его оперировал. Для меня это очень неприятно, правда, у него был рак. Знаешь, как плохо работать без настроения. Можно напортить. А с хорошим настроением я и сделаю лучше. Договорились?

...Когда Овчаров, уже в палате, пришел в сознание, Андриан Павлович рассказал:

— Снова сделал тебе ревизию. Оказывается, тогда в этом месиве была задела поджелудочная железа. Потому рана так сильно гноилась. Поджелудочная уже зарубцевалась, я все хорошо вычистил, теперь должно заживать, — он вздохнул. — Ты в рубашке родился. Задень я поджелудочную чуть больше — и уже ничто бы не спасло... Не зря тогда я так боялся оперировать, ох не зря... Но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.

* * *

Дина получила от Макара письмо. Он пишет, что, видимо, скоро придет домой. Отдохнет, а потом — в последнюю, самую яростную атаку.

«Господи, — думает Дина, — когда же это кончится. Сколько он мучился, и сколько еще мучиться? Да хоть бы было ради чего...» Она уже не верит, что

Макар выздоровеет, выживет. У нее временами бывают даже вспышки злости — ведь это из-за него она живет не так, как могла бы жить, — хотя и понимает, что он не виноват. «Так и я же не виновата...»

В последнее время Дина с тревогой думала о том дне, когда придет Макар. Временами ей казалось, что один его вид будет ей неприятен, и она не сможет относиться к нему как прежде... Полюбила-то она Макара здорового, сильного, красивого, а не больного, больной — значит уже другой, а другому она ничем не обязана... «Нет, надо найти силы встретить его как и прежде. Ведь не долго осталось... Я выполню долг жены, чтобы люди не могли меня осудить».

Развязка представлялась ей как избавление. Тогда она видела себя — красивую, свободную... Боже мой, о чем она?

Дина принялась писать Макару ответ. А мысли уплывали куда-то в сторону. «Какие сапожки он завтра мне принесет?»

Как-то на работе она посетовала:

— На многих вижу такие красивые сапожки. Где только люди достают?

— Хотите, я вам достану? — сказал таксист в кожаной куртке, он в это время оформлял в конторе путевку.

Завтра он их должен принести. Он хороший: вежливый, веселый, остроумный. Его внимание особенно приятно. Муж таким вниманием не баловал... разве что в первые месяцы после свадьбы.

Сейчас Дина позволяет таксистам пошутить с нею, только без фамильярностей. Когда она приходит в столовую, мужчины приглашают ее взять обед без очереди, помогают донести поднос до стола, обедала она обычно в их обществе. Из женщин такой привилегией пользовалась она одна. И в конторе все комплименты таксистов адресовались только ей. За это «неравенство» женщины стали выказывать ей свою неприязнь. Сначала Дину это немного тяготило и вместе с тем льстило, что сотрудницы завидуют ей. А потом решила: «Пусть думают. Я же не виновата, что шоферы не пропускают их без очереди». А махнув рукой на то, что о ней подумают сотрудницы, сама вдруг обозлилась на них: «Они завидуют мне? Так теперь еще больше будут завидовать!» — и она стала одевать-

ся на работу, как на званый ужин, каждый день приходила в новом. Она заставила себя поверить, что, одеваясь так, преследует лишь одну-единственную цель: подразнить сотрудниц... А позднее созрело и более убедительное оправдание: «Меня судьба обошла во всем. Неужели я не могу позволить себе хотя бы одеваться так, как мне хочется? Ведь раз живем на свете! И о себе тоже надо подумать...»

Она исписала страницу, рассказала Макару, что на работе у нее все в порядке, что ее уважают сослуживцы, только кое-кто из сотрудниц завидует тому, что она красива и что ни наденет, все ей к лицу. И что ей обещали достать сапожки... А больше она не знает, что писать. Посидела, подумала... Нет, ничего больше вымучить из головы не может... и закончила привычным: «Очень ждем тебя, папочка. Обнимаем, целуем. До свидания, родной. Поскорее выздоравливай!»

* * *

За окном осень вылила все дожди, зима высыпала все снега, и апрель уже переплавил снег и лед в звонкие ручьи. Прошло лето. После многомесячного заточения больным разрешили гулять во дворе института. Кругом зеленая трава, начинает цвести сирень. Потом зацвел клевер, в изумрудном травяном «небе» маленькими солнышками загорелись одуванчики, ароматные белые цветы — точно снежные хлопья — облепили кусты жасмина. За больничной оградой даже лето не такое, как здесь, во дворе. Во дворе оно какое-то ненастоящее.

Макар бродит по траве. Он впервые обратил внимание на то, как богат травяной покров разнообразием листочков, цветов и соцветий! Даже у клевера много разновидностей листьев. Он срывает их, сравнивает, любуется и не может насмотреться. Засушивает эти листочки в старом журнале...

Он смотрит на людей, что ходят по ту сторону больничного забора, и думает, что они не умеют по-настоящему ценить красоту жизни и все их окружающее, бывают недовольны из-за какой-нибудь мелочи, и из-за этих мелочей не знают, что у клевера столько разновидностей лепестка... не знают, как хороша жизнь, как хорош день — будь он солнечный, пасмурный и дождливый, будь то

вечер или ночь с луной-дуэньей на небе и тишиной, или с ураганом — какая разница? Важно, что все это есть! А ведь могло уже не быть...

Скоро домой... Последние письма от Дины Макару не очень нравятся. Там есть прежние «милый, родной, жду, обнимаю, целую», но ему кажется, что сканы они как-то не так... Они какие-то ненастоящие, по обязанности. Вот когда Дина написала: «Нет! Я не хочу потерять тебя, понимаешь? — не хочу!» — он знал, что этим было сказано не то, что она думала, а — что чувствовала.

И когда на душе становилось тревожно, он вспоминал эту строчку и на время успокаивался: ведь это ее слова. Сколько он помнит, она слов на ветер не бросала. Да и не может она в каждое письмо вложить свою душу. У него ведь тоже не все письма одинаково теплы — настроение-то не всегда одинаково. А она послабее его, больше поддается настроению. Да и устала...

А пройдет несколько дней, и он уже ждет — не дождется письма. Хотя бы два слова! Только без тряпок. Покупай их себе на здоровье, только пусть они не будут главной новостью. Ты мне о себе да о Сергеечке побольше рассказывай...

Скоро год, как он из дому. Что бы там ни было, а дом есть дом! И привязанность — не башмак, с ноги не скинешь. Ведь шесть лет прожили вместе, как ни говори, привыкли друг к другу... А если вдалеке, да еще долго не виделись, все смягчается, проступает не так выпукло, не так резко, за дымкой времени и расстояния принимает другую окраску... Скорее бы домой. Может, все еще не так плохо? Может, все встанет на свои места?

Чем ближе дом, тем настойчивее, ярче мысли о доме, Сережке, Дине — и, наконец, они вытеснили из головы все остальное...

Сергею уже четыре года! Наверно, отвык... а может, и совсем забыл... Да нет, Дина же как-то писала, что он, как придет из садика, по десять раз заглядывает в почтовый ящик, нет ли письма от папы... Как-нибудь тихим вечерком они втроем пойдут на Венец, будут смотреть на плывущие по Волге теплоходы, баржи, на тающие в голубой дымке завожские дали...

Вышел на работу Андриан Павлович,

загорелый как африканец — отпуск проводил на юге.

— Как хорошо вы загорели, — говорит Овчаров.

— А-а, — недовольно машет рукой Андриан Павлович, — по-дурачки загорел. Не загорел, а сгорел.

— Андриан Павлович, что дальше будем делать?

— Теперь, наверное, тебе тоже надо съездить в «отпуск». Сколько ты уже у нас?

— Девятый месяц.

— Отпуск полагается через одиннадцать, но мы тебя в виде исключения раньше отпустим. Тебе надо накопить силы для последней операции.

— Когда меня выпишите?

— Пусть немного рана заживет. Не спеши, время придет — сами выгоним. Ты нам надоел хуже горькой редьки.

— Я вам сочувствую, Андриан Павлович! — улыбается Макар.

Теперь Овчаров врачам «не нужен». И он рад этому: если врачи толкуются у твоей койки круглыми сутками или хотя бы очень внимательны к твоей особе — знай, это не к добру. А когда врач только на бегу спрашивает: «Ну, как дела?» — значит, ты уверенно пошел на поправку.

Выписали Макара в хорошую погоду, и настроение у него тоже было хорошим.

На вокзал отвезли на санитарной машине. У него оказалось много вещей, он рассчитывал вернуться зимой, да подзадержался малость: июнь на дворе, теперь всю зимнюю одежду пришлось связать в узел.

Макара провожал почти весь институт — и больные, и медперсонал. Все вышли во двор. Желали доброго пути. Просили:

— Ты нас не забывай, Макар Иванович.

Макар смеется:

— И рад бы забыть, да... сами понимаете — не в силах.

А в поезде загрустил. Что-то ждет его дома?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Вот он и дома. Ох, как тяжело подниматься на пятый этаж. Пришлось несколько раз подолгу отдыхать, пока

взобрался на свою «голубятню». Надо перебираться пониже. И нужна двухкомнатная квартира. Приступы головной боли стали еще продолжительнее и мучительнее. И при этом нужен полный покой, тишина и темнота. Ему одному необходима отдельная комната.

Сережки дома нет, он с детсадом на даче, сегодня должны они вернуться.

Макар спустился «на землю», чтобы пойти встретить сына. Воспитательница спросила, за кем он пришел, и громко вызывает:

— Овчаров Сережа!

Он выбегает... Как вырос! И загорел. Смотрит удивленно на Макара.

— Кто это? — спрашивает его воспитательница.

— Папа, — отвечает он.

Не забыл...

— Здравствуй, Сережа, — Макар протянул к нему руки. Сергей хлопает правой ладошкой по его ладони:

— Здравствуй. А че ты такой толстый?

— Да вот... силоховал.

Они выходят из садика.

Снова взбираются на пятый этаж.

Овчаров написал на имя председателя горисполкома заявление. Нужна двухкомнатная квартира. Просил, чтобы дали на втором этаже. Обещали дать при первой возможности.

Теперь Сергея из садика забирал Макар. Они часто ходили на Венец полюбоваться Волгой. Иногда отправлялись купаться: Сергей плещется, резвится, а отец, как старый гувернер, сидит на берегу.

Болезнь прогрессирует: он прибавляет в весе, приступы головной боли с каждым разом становятся все тяжелее. Он не может делать резких движений — сразу ударяет в голову, точно в его жилах течет не кровь, а шампанское — и ему становится дурно. Начинает побаливать позвоночник...

Пошел к эндокринологу.

— Вот видите, — говорит она, — вы потеряли надпочечник, а что вам это дело? Вы сейчас хуже выглядите, чем до операции, — немного помолчала. — А что теперь врачи обещают?

— Удалить и правый надпочечник.

— И вы соглашаетесь?

— Конечно.

— А вы знаете, что человек без надпочечников жить не может? — она смот-

рит на Овчарова как на человека, который не способен уяснить простейшей истины.

— Если другие могут жить, почему мне не попробовать?

— Отчаянный вы человек.

— Уж какой есть.

Она чистосердечно желает ему только хорошего, хочет дать добрый совет — он это понимает... и все же, как врач, она определенно ему не нравится.

Из поликлиники пошел в садик за Сергеем. Погуляли с ним на улице. Сережка съел мороженое, и они направились домой.

— Папа, вон мама с работы идет! — обрадованно сказал Сергей.

Макар увидел Дину, она тоже увидела их, но сделала вид, что не заметила, перешла на другую сторону улицы и вошла в галантерейный магазин.

Это уже второй раз. Дина избегает встречи с ним на улице. Первый раз он старался убедить себя, что она в самом деле не заметила его, что ей необходимо было зайти в «Полуфабрикаты». Но сейчас он был уверен, что она видела их с Сергеем. Она не хочет, чтобы ее видели рядом с мужем. Сколько раз он приглашал ее пойти погулять втроем, он так хотел еще хоть раз — один только раз — пройтись с ними по городу, посидеть в скверике на Венце, но она находила тысячу отговорок.

Опасения Дины оправдались: присутствие Макара в доме тяготило ее, оказалось, что он неприятен ей более, чем она ожидала. Когда она представляла, что могла бы появиться с ним на улице, у нее возникало чувство, подобное тому, какое бывает у человека, боящегося темноты. Постепенно она сжилась с мыслью, что полюбила Макара здорового, а больной — он уже другой, другому же она ничем не обязана. «Неизвестно еще, как бы он ко мне относился, если бы это я заболела. Мужья всегда бросают больных жен», — думала она, пытаясь найти себе оправдание.

«Да и любая на моем месте поступила бы так же, — думала она в другой раз. — Другая давно бы ушла от него совсем», — и тогда она уже считала, что муж должен быть благодарен ей за то, что она до сих пор живет с ним, приносит себя в жертву.

Таксист, о котором она думала все чаще, теперь ходил не в кожаной куртке,

а в тенниске, и она украдкой любовалась его мускулистыми руками, широкой грудью, сильной шеей, молодецким поставом головы...

Он несколько раз предлагал ей поехать домой на «Волге», но Дина отказывалась.

А спустя несколько дней после приезда Макара, когда шла к трамвайной остановке, он догнал ее и пригласил в машину. Дина оглянулась, нет ли поблизости кого из сотрудниц, и села на сиденье рядом с ним. По дороге он пытался разговорить ее, но она отвечала неохотно. А за квартал до дома попросила остановить машину.

— Что же я мужу скажу? Так рано с работы я никогда не возвращалась, — сказала она, выйдя из машины. Ей очень не хотелось идти домой.

— Тогда садитесь, еще покатаемся, — с готовностью предложил шофер.

— Нет, пойду. Скажу, что начальник всех раньше отпустил.

На следующий день было то же. Только таксист сразу предложил поехать куда-нибудь. Дина согласилась. Но домой пришла вовремя.

Иногда они договаривались пойти в кафе или ресторан. Тогда Дина приходила домой позже обычного и говорила, что было собрание, или еще что-нибудь.

Дине нравился этот мужчина, ей было приятно с ним, но она не допускала, чтобы их отношения зашли слишком далеко. Она сама рассказывала ему о муже, говорила, что Макар, когда они жили на границе, был очень красивый, сильный, а сейчас он в очень тяжелом состоянии, что ему недолго осталось жить, что она очень устала... И таксист сочувственно отвечал: «Болезнь, она никого не красит...»

А когда приходила домой, невольно сравнивала таксиста с Макаром, и тогда на нее находило беспричинное раздражение, она всегда была чем-то недовольна.

Макар знал, что это он — причина ее плохого настроения. Но не допускал мысли, что она встречается с другим мужчиной. «Сейчас от нее можно ожидать все, что угодно — только не предательства. Дина не может этого сделать. По крайней мере, она должна честно и прямо об этом сказать».

Он думал так потому, что в душе мог простить все, кроме предательства.

Когда Макар приехал домой, он не узнал Сережку. Мальчик не знал, что можно делать, а что — нельзя, чем можно играть, а на что наложено табу, если ему не давали то, что он просит, он падал, кричал и сучил ногами, будто крутил педали невидимого велосипеда. От этих «припадков» Макар быстро выучил его непедagogическим стародедовским средством — ремешком, потому что уговоры и доводы не только не помогали, а еще и масла в огонь подливали — он тогда закатывался и синел. Если бы Макар был с ним постоянно, не пришлось бы прибегать к таким крутым мерам — сколько он помнит Сергея, тот был очень послушным, а за эти девять месяцев, что был без отца, разбаловался. Теперь быстро входит в колею. Неделя, другая прошла, и от Сергеевых капризов следа не осталось.

Говорят, учи, пока поперек лавки укладывается, а во всю вытянется — не научишь. Обязанность и долг отца — научить сына, чтобы тот знал, «что такое хорошо и что такое плохо», что такое хочу и что такое надо, что можно, чего нельзя. Надо научить его владеть и управлять своими желаниями, а если нужно, то и подавлять их. Кто-то сказал, что самая трудная победа — это победа, одержанная над самим собой. Если Макар будет жив, он научит сына одерживать такие победы. Но прежде чем учить других, надо уметь самому побеждать. Он будет учить и учиться. Сказал нет — значит нет. И самому надо быть во всем пунктуальным: сказал — сделай, пообещал — выполни, чего бы это ни стоило. И мальчишку надо приучать быть хозяином своего слова. И чтобы работу не делил ни на хорошую и плохую, ни на мужскую и женскую, почетную и позорную. Он — будущий мужчина, представитель «сильной» половины человечества. А сильный в няньках не нуждается. Настоящий мужчина — это не тот, кто пропадет с голоду, если жена уехала на недельку из дому, настоящий мужчина тот, кто выживет там, где погибают миллионы.

Макар получил свой первый урок еще в детстве. Это было вскоре после войны. Его двоюродный брат, кавалер ордена Славы трех степеней, приехал к ним в гости. Макаркина мама в это вре-

мя болела. Пригнали коров. Мать хотела встать подоить корову. А полный кавалер Славы и говорит:

— Тетя, лежите, я подою. Думаете, не умею? Мальчишкой частенько приходилось.

Он повязался фартуком, подоил корову. Потом взял хворостину и погнал ее через все село — в мундире, при погонах и при всех орденах... Вот тогда Макар и понял, что никакая работа не может быть позорной, если она кому-то приносит пользу.

Часто говорят, что человек любит работать, что работа — это его потребность. Если так, то откуда берутся лентяи и туеядцы? Макар подозревает, что человек по своей природе лентяй. Но у человека есть цель. А чтобы ее достичь, надо работать. Человек работает, чтобы увидеть результат своего труда. Аналогичный по действию труд может принести и большую радость и огорчение — в зависимости от результата. Вот Андриан Павлович, хирург, он, как говорится, любит свою работу. Но разве сам процесс — резать живого человека — он любит? Он хочет видеть результат: выздоровевшего человека. Он оперировал Медынцева и его, Макара, в обоих случаях делая одну и ту же работу...

Вот и он, Макар, любил подметать конюшню, когда был дневальным. Честно говоря, он не любил сам процесс — мало удовольствия махать метлой и нюхать поднимающуюся пыль, смешанную с конским навозом. Но в целом эта работа доставляла ему удовольствие: смотришь вперед — грязно, мусор кругом, а оглянешься — где прошла метла, там коновязь чистая, будто улыбается тебе. Эх, с какой бы радостью он снова взялся за метлу!

Человек не станет работать просто так, лишь бы не сидеть без дела. И как бы горячо ни взялся он за работу, рано или поздно отвернется от нее, если убедится, что трудится вхолостую. Работа станет по-настоящему увлекательной лишь тогда, когда человек видит результаты. Значит надо добиваться, чтобы Сергей каждое дело доводил до конца и учить его уметь видеть результат.

Макар уже не повторяет Сергею дважды одно и то же — мальчишка слушается его с первого слова. Но право спрашивать «а зачем?» за ним остается.

С каждым днем Макару все труднее

подниматься на пятый этаж, он почти не двигается, часами сидит не шелохнувшись на диване. Теперь они с Сергеем редко гуляют на улице. Макар договорился с воспитательницей, чтобы вечером Сережку одного отпускали из садика домой.

Обычно Макар сидел у окна и поджидал Сережку. А в этот раз еще и на лестничную площадку вышел, чтобы встретить его. Слышит, как он поднимается по лестнице. Но что это? — Кто-то постучал в дверь на третьем этаже, потом на четвертом... Ах, негодный мальчишка, это он на каждом этаже стучит в двери квартир. Макар зашел в комнату, чтобы Сергей не знал, что он стоял на площадке.

Как обычно, стал расспрашивать сына обо всем: что делали в садике, что видел по дороге домой. Сережка охотно рассказывает.

— Сережа, а зачем ты, когда поднимался по лестнице, на каждом этаже стучал в двери?

Сережка от изумления застыл с игрушками в руках, смотрит на отца округлившимися глазами и даже рот приоткрыл.

— Пап, а как ты узнал?

— А я, Сережа, все знаю. Так что не пытайся меня обманывать.

Макар понимает, что рано или поздно Сергей поймет, что отец о нем всего знать не может. Но сейчас важно заставить его говорить правду и только правду. Он не будет изощряться во лжи, привыкнет быть откровенным, а его в это время учить, учить, убеждать, объяснять, делать так, чтобы он на себе испытал, как неприятно, гадко на душе, когда тебя обманывают, — и как это здорово, когда тебе и верят и доверяют.

У Макара не на шутку разболелся позвоночник. Боль мучительная, ни на секунду не отпускающая. На улицу он не выходит совсем — очень трудно подниматься по лестнице. Ложиться и вставать было мученьем. Встав с постели, сразу идти не мог: боль, боль, боль... темнело в глазах от нее. Держась за спинку кровати, осторожно выпрямлялся и, немного переждав, делал небольшой шаг. Немного погодя еще шаг, еще. Нет, дальше так жить невозможно. А как? Может, письмо написать Андриану Павловичу? Макар обратился в поликлинику. Направили его на рентген. Ока-

зывается, компрессионный перелом позвоночника. Измерили рост. Макар стал ниже почти на четыре сантиметра. Час от часу не легче — пошел на убыль... Ну что ж, он и к этому готов.

Утром, если очередной приступ не удерживал в постели, Макар вставал, будил Сережку, и они занимались зарядкой.

Иногда Макару бывало до того плохо, что он едва не терял сознание. Тогда он умолкал, а Сережка стоял и ждал. Когда Макара немного отпускало, он улыбался через силу и говорил:

— Продолжим. Раз... два... три.

Всю свою душевную энергию, все чувства свои и внимание сосредоточил Макар на сыне. Это для него сейчас главное — сын.

* * *

Уже давно Сережка уговаривал папу с мамой пойти в цирк. В обычный день Дина поздно приходит с работы, а в воскресенье у нее всегда находятся неотложные дела. Макар пообещал сыну, что пойдут пятого декабря — мама три дня не работает, времени хватит и на цирк, и на домашние хлопоты.

Дней за пять до праздника, вечером, когда к Овчаровым пришли «на телевизор» Сережина подружка Тома и ее мама, Макар предложил гурьбой пойти в цирк. Тома и ее мама охотно согласились. Сергей от радости затопал ногами, бросился к Томе бороться, и диванные пружины загудели от их возни.

— Тома, тебе поручаю купить билеты, — сказал Макар. Тома уже взрослый человек, ходит в первый класс.

— На меня билеты не берите, я пятого работаю, — сказала Дина. Она не сказала «возьмите на шестое или на седьмое», а сказала «на меня не берите». Макар знал, что Дина не пойдет с ним в цирк, и пригласил соседей — чтобы для нее было «общество», в котором она бы чувствовала себя на людях свободнее — ведь посторонним неизвестно, кем он кому доводится.

Сережа и Тома сразу прекратили возню и приуныли. Сергей с испугом переводил взгляд с матери на отца, не мог понять, в чем дело.

— Тогда и я не пойду, — сказала Томина мама.

Сережа посмотрел на нее с отчаяньем: как же теперь?

— Тома, возьми тогда три билета, — сказал Макар, делая вид, что ничего особенного не случилось, только голос «сел», стал сиплым. Сережа сразу повеселел, но восторга уже не выказывал.

— Как же ты думаешь ехать в цирк, ты же еле ходишь? — чтобы как-то оправдать свой отказ, сказала Дина.

— Туда доеду, хватит сил. А обратно как придется... — сухо ответил Макар, давая этим понять, что отговаривать его бесполезно. Посмотрел Дине прямо в глаза и добавил печально. — Я хочу еще раз сводить его в цирк.

Если бы теперь увидела его Нина-люкс, то ей в пору было бы спросить, умеет ли он быть веселым, Макар Овчаров, умеет ли улыбаться. Макар бывал самим собой лишь когда оставался один или был вдвоем с Сергеем, а с приходом всегда раздраженной Дины все в доме словно покрывалось изморозью: слова выдавливались редко и неохотно, словно каждый боялся тратить лишнее тепло, губы деревенели, даже свободных движений делать избегали, чтобы холод в душу не пробрался, все ходили нахолодившись. Тепло для сердца давали воспоминания, не будь у него воспоминаний, где бы силы брал он, чтобы бороться и выжить? Опять ему по ночам снилась застава, тревоги, славный друг его Ваня Истомин. Он шел Макару навстречу с поднятой вверх, словно для приветствия, рукой, смеялся беззвучно и говорил: держись, лейтенант, держись, пока есть силы! Хочешь, мы подарим тебе зеленую фуражку? Макар качает головой: так у меня же есть, слышишь, есть такая фуражка... Спасибо, Ваня, спасибо, друзья, я постараюсь быть сильным, я постараюсь.

* * *

Сережка пригласил отца на елку. Это Дина боится показаться на людях рядом с Макаром. А Сережке все равно, какая у отца фигура — ему хочется, чтобы и его папа, как Витин и Толин, и Светин, тоже был на утреннике.

Дина пойти не может — ей на работу. А Макар решил сходить — садик близко, доберется как-нибудь.

В зале было уже много родителей, их рассаживали на детских стульчиках. Макар видит на стенах свои рисунки: Волк с палкой, Медведь в шубе, Заяц в рубашке и штанишках — герои из «Ко-

лобка». Это Сергей похвастался, что его папа умеет рисовать, вот и пришлось поработать.

Дети в белых костюмчиках, колпаках и жабо. Появляются Дед Мороз и Снегурочка, их встречают восторженным визгом.

Потом воспитательница объявила:

— А теперь Сережа Овчаров прочитает папино стихотворение.

Сережка чуточку смущен. Оглядывается на отца. Макар весело ему подмигивает: не робей. И Сережка читает стихи о том, как на пограничную заставу, в пустынный край, привезли зеленую елку и как радовались пограничники, вспоминая детство свое, и как потом уходил пограничный наряд в ночной дозор, чтобы на земле было спокойно и хорошо...

Воспитательница шепнула Макару:

— Хороший у вас сын. Каждый день показывает ребятам новые упражнения, — улыбается она. — Делает мостик, стойку, говорит, что папа его научил. Буду, говорит, сильным.

Из садика Макар с сыном идут не спеша. Сережка возбужденно говорит о елке, о том, как он сначала боялся выступать, а потом вон даже Дед Мороз похвалил его и дал подарок.

Поднимаются по лестнице. Макар часто останавливается отдохнуть. Осталось две ступеньки. Но у него больше нет сил. Сергей стоит рядом и с жадностью смотрит на отца. Помочь ему он ничем не может. Макара словно насквозь пронизывает длинная стальная спица, он стискивает зубы и некоторое время стоит с закрытыми глазами. Он плохо помнил, как все же взобрался на лестничную площадку. Еще на одну ступеньку выше он бы не смог подняться. От ужина отказался. Лег в постель, попросил Дину вызвать скорую помощь.

Был десятый час.

По звукам Макар определял, что происходит вокруг (это у него еще с границы), он будто видел, как Дина подводит брови, ресницы, пудрится, красит губы... Звякнули флаконы. Пошла в коридор, надевает шапку... Сокрушенно вздыхает: как ни наденет — все не так. Остановилась у двери. Щелкнул замок. Нет, не вышла. Дина, Дина, если бы я знал, что происходит в тебе, почему ты стала неузнаваемо чужой, холодной и равнодушной. Прошло много времени. Превозмогая боль, Макар встал, вышел

в коридор, а Дина, опустив голову, сидит на тумбочке трюмо. Услышала его шаги, встрепенулась:

— Ой, кажется, я задремала! Ты что-то просил?

Он постоял около нее, дотронулся до плеча, сказал тихо:

— Нет, ни о чем не просил. Иди спать.

* * *

После утренника Макар отлеживался двое суток. А когда встал, первым делом написал Андриану Павловичу письмо. Короткое, как докладную: «О своем состоянии скажу одно: SOS! Андриан Павлович, вы меня знаете, я зря жаловаться не стану. Обстановку оцениваю объективно: положение становится почти безвыходным. Я живу, пока хожу. Перестану ходить — перестану жить. Только, пожалуйста, не думайте, что пишу я это в порыве отчаяния или душевной слабости. Нет! Я неисправимый оптимист. Просто трезво смотрю на вещи. И поэтому прошу вызвать меня в Москву немедленно. Полечу самолетом, потому что на поезде ехать уже не смогу...» Он отложил письмо и вдруг вспомнил мать — как она его вела за руку, он не помнит, куда они шли, но помнит, как она крепко держала его за руку и все спрашивала: не устал? Нет? Не устал? Нет? Ему захотелось снова увидеть мать, услышать ее родной голос: не устал, нет? И упасть перед ней на колени: прости, родная, я очень устал, помоги мне, возьми за руку, как брала когда-то... И не думай, что я сдался в плен болезни — самого страшного своего врага. Нет.

Письмо Андриану Павловичу отправил авиапочтой.

* * *

Девятый вал самый грозный... Держись, мореход! Пусть мачта смыта, снасти оборваны, а ты — держись! Твой SOS услышан и к тебе спешит помощь, она недалеко — ты же видел, в бушующей мгле искоркой блеснула сигнальная ракета. Это — вызов в Москву, он на сей раз пришел, как никогда, быстро — в середине января. А приехать в институт Овчаров должен в начале февраля. Надо продержаться это время. Надо.

В старой квартире телевизор стоял

на швейной машине, а радиола — на старомодной тумбочке. Макар решил сделать для этих приемников подставки-модерн. Вынул из раздвижного стола два квадрата, с помощью которых удлиняется стол, и стал мастерить, он решил испытать себя в новом ремесле.

А если говорить серьезно — он бросил вызов разгулявшейся буре.

Один квадрат он распилил пополам — это будут подставки для телевизора и радиоприемника. А другой распилил так, чтобы из обеих частей получилась прямоугольная трапеция. Пилить было трудно. Корпус Макар старался держать неподвижно: он окаменел, и только правая рука медленно тянет на себя ножовку. Короткая остановка. Теперь медленно толкает ножовку от себя... Так же и молотком работает: плавню поднимет, потом опустит — что делает молоток в свободном падении, то и его... Ему никак нельзя делать резких движений, он боится лишний раз шелохнуться или глубоко вздохнуть.

Так он работал два дня. И вот гарнитур готов, он получился легкий, даже изящный — если смотреть издалека. «Есть еще порох в пороховницах!» Свои изделия он покрыл черным, пусть пока печным, лаком. Жив будет — покрасит хорошим...

В аэропорт Макара увезли на «скорой», Дина поехала с ним. Макар уже не удивлялся тому, что Дина знакомится с залом ожидания и к нему не подходит. Пока подошло время посадки, погода испортилась, рейс на Москву отменили.

Санитарная машина ушла, как только они из нее вышли. На автобусе Макару нельзя. Он сказал жене, чтобы она ехала домой, а сам остался в аэропорту. Ночь провел в кресле. На следующий день погода установилась, вылетели в одиннадцать утра.

Пассажиры помогли Макару взобраться в самолет.

Дина не пришла, опоздала, наверно. Самолет взмыл в высоту и понес его навстречу неизвестности.

* * *

Макар улетел в Москву. Теперь, возвращаясь с работы, Дина с замиранием сердца открывала почтовый ящик... Неустроенность жизни ей не грозит: так-

сист ждет — не дождется, когда она станет свободной.

Он объяснился ей в любви и сделал предложение.

— Обожди. Недолго ведь осталось. Ты думаешь, я не устала? Одному богу известно, чего мне стоили эти годы.

Он согласно кивал. Четыре таких кошмарных года! Такая женщина, как она, достойна другой участи... Он вообще удивляется, как она смогла выдерживать...

— Уж такой наш крест, — смиренно отвечала на это Дина.

Ей стало до слез жаль себя, своей загубленной жизни, она считала себя несчастнейшей из женщин. И вместе с тем — ей льстило, что другие видят тяжкий ее жребий, восхищаются ею и жалеют ее, она чистосердечно верила, что она именно такая, какую видят ее друзья.

Дина решила заложить надежный фундамент новой жизни, войти в новую семью не блудной женой, а великомученицей, святой, чтобы никто ни в чем не помыслил ее упрекнуть.

Как она относилась к мужу, этого, слава богу, никто не знает — да ведь и она не железная. И все это понимают, даже Макаровы родственники жалеют ее и уважают.

Тревожило ее лишь одно обстоятельство: как новый муж будет относиться к Сергею? Очень уже Сергей привязан и любит отца. Но Сережке понравился веселый дяденька в кожаной куртке, понравилась его легкая и стремительная машина, ехать на которой одно удовольствие. Эх, если бы еще и папа дома был — они бы, конечно, все вместе съездили за город, на рыбалку, и папа Макара, может быть, написал бы новые стихи...

Стоило Макару переступить порог хирургического отделения, и на душе сразу стало покойно, словно после долгих скитаний вернулся в родной дом.

Сегодня дежурит Зина. Сейчас она очень занята — делает на сон грядущий уколы. Она только успевает сказать на ходу:

— Макара Иванович, идите в холл, там для вас на диване приготовлена постель.

Овчаров идет в холл. Диван застелен свежей простыней, в головах две подушки.

Вскоре Зина приносит ужин:

— Макара Иванович, вы, наверно, проголодались?

— Я в аэропорту перекусил. Спасибо. Зина снова забегает и говорит:

— Вот уложу всех спать, тогда приду, поговорим.

Макару приятно, что о нем так позаботились: и постель приготовили, и ужин оставили. Он лежит, улыбаясь, жлет. Думает.

Наконец приходит Зина. Они расспрашивают друг друга: она — о здоровье Макара, он — о жизни хирургического отделения.

— Когда дежурит Нина-люкс?

— Она не работает.

— В отпуске?

— Нет. Перешла в другой институт.

Ему очень жаль, что она здесь больше не работает.

— А ты замуж не вышла?

— Нет еще.

— Чего ж так, а? Зинка-корзинка?

— Никто не берет.

— Нечего ждать, самой искать надо.

— Это вам, мужикам, просто: взял за руку и повел. А нам сиди и жди, когда тебя возьмут и поведут.

— Так и состаришься.

— А что ж поделаешь! Ничего не поделаешь. Ну, спи, Макара Иванович, — ласково она говорит. — Пойду, дел много.

Проснулся Макара от шума. Это задребезжала стеклянная дверь, она всегда за что-то цепляется и потому, когда отворяется, дребезжит. В холл входит старшая сестра отделения, приветливо здоровается с ним, спрашивает, как спалось на новом месте, не приснилась ли невеста, спрашивает о здоровье.

Только она ушла, заходит тетя Клава. Она даже целует Макара в щеку. Расспрашивает о том, как доехал, как семья. Макара на все отвечает: хорошо.

Днем его перевели в палату.

Андриан Павлович заглянул, пожал Макару руку.

— Ну-с, как говорится, продолжение следует. — И подбодрил. — Ничего, кушнинг для нас теперь — не загадка.

Осмотрел внимательно. Сказал: «А ты ничего, хорош... Я думал — хуже. Будем оперироваться. Не возражаешь?»

И вышел. И в душе у Макара поселилось спокойствие.

* * *

И снова — операция.

...Проснулся от того, что руку сдвинула манжетка тонометра. Слышит голос Андриана Павловича:

— Опять шестьдесят на сорок пять, — и с ожесточением добавляет: — Никак, ну никак не могу поднять давление.

«Никуда ты, Андрианчик, не денешься, поднимешь давление», — усмехается про себя Овчаров. И тут же снова куда-то проваливается.

В следующий раз Андриан Павлович ничего не говорит, только тяжело вздыхает. Значит, пока без изменений. Но Макара это нисколько не волнует, буд-то его давление — сугубо личный интерес Андриана Павловича.

И только где-то под утро, очнувшись, слышит облегченный вздох хирурга:

— Ну, кажется, поехали: давление получшало.

А Макара мысленно ему говорит: «Вот видишь. А ты боялся».

Когда у него было уже достаточно сил, чтобы оглядеться, увидел на тумбочке в банке с водой две веточки тополя. «Кто бы это?»

Загадка вскоре раскрылась: в палату вошла тетя Клава и сказала:

— Шла сегодня на работу, гляжу, лежит сломанная веточка. Дай, думаю, поставлю на тумбочку Макару Ивановичу, может распустит листочки — все ему веселее будет.

— Спасибо, Клавдия Ивановна.

Как и прежде, его навещают больные, сестры, врачи других отделений, даже лифтерши и электромонтеры забегают на минутку. Макара для них не только больной — он стал для них своим.

Овчаров перестал принимать искусственные гормоны — чтобы посмотреть, что из этого получится.

Так прошла неделя.

Андриан Павлович на минутку забежал в палату, Макара ему и говорит:

— Андриан Павлович, у меня к вам дело.

— Ну, какое еще у тебя дело? — ему сейчас некогда, он куда-то спешит. Но когда он не спешит: даже, бывает, делает операцию, а зашивать поручает ассистентам — уже опаздывает на учебный совет.

— Уже целую неделю не принимаю таблеток — и прибавил в весе.

Если бы Овчаров вдруг закукарекал или превратился в обезьяну, хирург не так бы поразился.

Теперь он уже никуда не спешит.

Он наклонил голову и трет пальцами лоб. Задумчиво произносит:

— Загадка природы... Целую неделю, говоришь, не принимал преднизолон?

— Целую неделю, — подтверждает Макара.

— И прибавил в весе? — переспрашивает Андриан Павлович.

— Прибавил.

Он смотрит сквозь Макара и о чем-то напряженно думает.

— Андриан Павлович, я решил провести этот эксперимент, пока рядом врачи. В случае чего, вы бы меня спасли. А я бы смотрел, что вы со мной делаете — учился бы, как поступать в случае недостаточности. Хуже, когда она появится, а врача близко не будет. А может быть, и врач не определит, что со мной, не будет знать, что делать. Нет, я обязательно должен сам знать, что это за зверь и как с ним бороться.

— Это ты правильно сделал, что перестал принимать... и правильно понимаешь, что тебе самому нужно знать свою болезнь, чтобы мог, если понадобится, и врачу подсказать. По самочувствию будешь назначать себе дозу... но мне не понятно, почему ты можешь обходиться без преднизолона. Неужели в организме где-то еще есть ткани, которые частично выполняют функцию надпочечников? И где ты такой уродился?

— А что мне теперь делать: принимать лекарство или нет?

Андриан Павлович морщит лоб, на минутку задумывается. Потом говорит:

— Попробуй не принимать, посмотрим, что дальше будет.

— А сколько времени не принимать?

— Сколько вытерпишь.

— Бог терпел и нам велел, — Макара невольно вздыхает. Он так ждал, что у него будет недостаточность. Андриан Павлович заметил его вздох, похлопал по плечу:

— Терпи, казак, атаманом будешь.

— А может: «терпи душа, в рай попадешь»? — делает намек Овчаров.

— Это будет свинство с твоей стороны.

* * *

Овчаров любит наблюдать, как сотрудники института идут на работу. В ворота входят быстро, чаще группами по два-три человека, в модных пальто, в сапожках, всегда о чем-то оживленно говорят. На пятый этаж поднимаются на лифте, вываливаются из кабины целой ватагой — энергичные, веселые, с раскрасневшимися от мороза лицами. Мужчины в элегантных костюмах, женщины одеты — хоть сейчас в театр: смотришь на них и чувствуешь, что тебя лечат не умудренные сухари, а живые, хорошие люди. И к этим людям тянешься, доверяешь им и любишь их. Все они очень разные: и по внешности, и по характеру, и по манере обращения с больными. Вот Андриан Павлович, на первый взгляд, кажется даже неподступным. А на самом деле он очень отзывчивый и заботливый. Пожалуй, никто из врачей не бывает после операции у постели больного больше, чем он. И если в институт приедет его больной, а мест свободных нет, Андриан Павлович обещит все кабинеты, но добьется, чтобы того приняли.

«Но какими бы хорошими вы ни были, дорогие мои человеки, лучше бы мне никогда не встречаться с вами на своем жизненном пути, — думает Овчаров. — Врач — это единственный хороший человек на свете, встречи с которым по возможности надо избегать».

Веточка тополя, которую Макар увидел на своей гумбочке, когда после наркоза пришел в себя, распустила листочки, по три-четыре на месте каждой почки, и дала большие корни.

— Как зеленеет, — сказала однажды тетя Клава. — А я тогда загадала: если пустит листочки, значит выживете, Макар Иванович. А на ней, смотрите, какие листья! Значит долго будете жить!

На улице уже апрель. Макар пошел в холл почитать книгу.

Он оторвался от книги, смотрит в окно. Снег уже почти весь растаял, только кое-где в тени еще лежит — заледенелый, покрытый грязью. Во дворе института дворники скалывают его, превращая в хаос, напоминающий торосы. А рядом, на солнышке, наперекор ночным морозам, уже зеленеют стрелочки травинки. Скоро Макар будет дышать свежим воздухом.

Думать о том, что будет, когда придет домой, не хотелось. От Дины — ни одного письма. И он тоже не пишет, не написал даже, что сделали операцию и дела идут на поправку. Вряд ли ее это обрадует.

* * *

Наконец Макара выписали. Утром он зашел к Андриану Павловичу за последними наставлениями, поблагодарить за все и попрощаться.

— За тебя я спокоен, — говорит хирург. — Ты в обстановке разбираешься правильно.

— А что будем делать, если не похудею? — Макар так и не принимает таблеток, а вес не уменьшается.

— Должен похудеть. Теперь надо рассчитывать на время — время покажет. Я все вырезал, что можно было вырезать. На меня больше не надейся — теперь только на бога уповай. Пиши, как будешь себя чувствовать. Можешь всегда рассчитывать на мою помощь.

— Андриан Павлович, большое-большое вам спасибо за все...

— Ладно, ладно, — отмахивается он от Овчарова, как от назойливой мухи. Подает ему руку: — Ну, будь здоров.

— Буду, — кивает Макар, чувствуя как сжимается горло. — Я, Андриан Павлович, теперь знаю, как жить. А это — главное.

Макар обходит все палаты, со всеми прощается, благодарит врачей, сестер, санитарок, и на лифте опускается вниз.

* * *

Утром Дина разбудила Сергея, повела умываться. Он увидел лежащего на диване отца и очень удивился:

— Мама, смотри: папа... Пап, а откуда ты взялся?

— Здравствуй, Сережа, — тихо сказал Макар.

Сергей подбежал к нему, обнял, прижался.

— Ладно, Сережа, идем умываться, а то в садик опаздываем, — Дина подошла, взяла его на руки. — Потом, потом, — и унесла в ванную.

А еще совсем недавно Сергей обходился без няньки.

Дина одела Сергея, и они ушли.

Макар остался один. Он лежал и ду-

мал. Сколько раз он рисовал в своем воображении картину: вот он возвращается домой здоровым, прежним — Дина поражена, не верит глазам своим, от радости и волнения не знает, что делать, счастливыми слезами туманятся ее глаза... Да, Макар хотел бы, чтобы кто-то плакал от радости за него. Сам он не мог плакать и никогда, даже в самые тяжкие минуты, не плакал. Но встреча с Диной была холодной.

Увидев Макара, она сухо поздоровалась и прошла в комнату, включила телевизор. Она вела себя так, будто он вернулся из магазина. Макар прошел в спальню. Сергей лежал в кровати в одних трусиках, скомкав одеяло и подложив ладошку под щеку. Тихонько, чтобы не разбудить, Макар погладил его по голове — тот пошевелился, вытянул ноги. Макар постоял еще немного, всматриваясь в полумраке в раскинувшегося по кровати сынишку, и вышел из спальни. Сел в кресло, тоже стал смотреть телевизор.

— Я должна тебе сразу сказать, — раздался натянутый Динин голос. — Жить с тобой больше не буду. Хватит! Понимаешь, я не виновата...

— А я тебя не виню.

Макар не шелохнулся. Но в груди стало пусто, холодно.

Они досматривали телепередачу в тягостном молчанье.

...Вечером Дина пришла домой без Серёжки. Макар ожидал этого. Она, не снимая пальто и не разуваясь, стояла у двери.

— Мне надо с тобой поговорить.

— Мы же поговорили.

— Я хочу взять кое-какие вещи.

Макар усмехнулся. Вещи.

— Бери все, что тебе надо.

— Значит, ты не возражаешь? — она запнулась и опустила глаза.

— Против чего я должен возражать?

— Нам надо решить еще один вопрос.

Я знаю, ты... несмотря ни на что... Серёжку любишь. Он обещал усыновить его... Я думаю, Сергею так будет лучше. Пойми меня правильно.

И тут он вдруг сорвался, закричал.

— Уходи, уходи сейчас же, немедленно! Прочь!

Дина выскочила из квартиры, она очень испугалась — никогда она не видела его таким. «Вовремя развязалась... Сколько прожила — и не знала, что он

может быть таким зверем. Хорошо еще, что тогда ни разу не взбесился, а то и убить бы мог», — она в ужасе содрогнулась, вспомнив его безумные, жуткие глаза, страшное, перекошенное лицо. «Будто кто виноват, что такая его судьба. Неужели он думает, что кто-нибудь согласился бы сохнуть с ним? Да другая уж давным бы, давно...»

Оказывается, он сидел с закрытыми глазами. А когда открыл — Дины уже не было.

Медленным взглядом Макар обвел комнату — она показалась ему огромной, будто из нее вынесли все вещи, даже, мнилось, эхо блуждало по углам. И он — посреди этой пустоты.

Один...

Совершенно один.

Но если так, зачем же нужно было переносить столько страданий? Чтобы выстоять в одном — и прийти к другому... Чего он достиг? Как-то Макар прочитал о том, что бывает такое, когда в глубине океана взрывается подводный вулкан — и на поверхность вздымаются водяные горы. Эти горы потом обрушиваются на берег, сметая все живое... Цунами — так называют этот подводный «вулкан». Цунами... Разве он, Макар, не сумел пройти через него, выстоять в этой неравной борьбе? Разве он только ради себя все это делал?

Спокойно, сказал себе Макар, ты должен прежде всего взять себя в руки. Его стало беспокоить какое-то брезгливое чувство, неясно-навязчивое. Он сел на стул. Чувство брезгливости сразу возросло... И тут Макар понял: оно исходило от вещей, окружавших его, — от ее вещей. Макар не знал, что Дина возьмет, потому все казалось враждебным. Ему нужно было лечь, но лечь на чужое было противно... Это было глупо, но справиться с собой Макар не мог.

На другой день, часов в десять утра, раздался звонок. Макар доплелся до двери, отворил и увидел Дину и с нею — трех мужчин. В ту же секунду Дина инстинктивно оглянулась на одного из них, точно ища у него защиты, и Макар понял, что это он, ее избранник.

Тот поздоровался — нерешительно, с виноватой неловкостью. Макар повернулся и ушел в комнату.

Дина вошла неестественно бодро, хозяйкой, и сразу — к шифоньеру, распахнула его, и облегченно вздохнула: все

на месте, все цело. За нею, как-то неуклюже, будто идут на дело, которое им не совсем по душе, вошли мужчины и стали выносить вещи.

Макар стоял у окна, спиной к вошедшим, и как бы со стороны следил за всем происходящим.

По комнате ходили люди, двигали мебель, кто-то, — видимо, новый муж — о чем-то спросил Дину. Макар стоял молча. Он знал, что если скажет хоть слово, то уже не сможет владеть собой и может натворить глупостей.

Ярость и напряжение воли, сдерживающее эту ярость, с катастрофической быстротой поглощали остатки сил. И Макар думал сейчас об одном и хотел одного — чтобы поскорее они уходили. Когда, наконец, вещи были вынесены, и Дина вместе с мужчинами ушла, не сказав ни слова (а может, Макар не слышал), он оглядел комнату — она стала еще пустынее. От пыльных плешин на полу, где стояла мебель, веяло враждебностью, чем-то очень чужим, они оскорбляли, не давали утихнуть гневу, навязчиво лезли в глаза, нагнетая своим видом чувство безысходности. Макар опустился на кровать, стоявшую в углу комнаты, одиноко, словно крохотное суденышко посреди бушующего океана... Макар подумал: наверное, так бывает изломано и разбито все вокруг, когда пройдет цунами — накатит свирепой волной, дохнет в лицо смертельным холодом. Какие нужны силы, чтобы выстоять в этой круговерти, остаться самим собой! Нет, это свыше человеческих сил.

* * *

Прошел день, другой, третий... Макар не находил себе места. Самое страшное было в том, что он не властен был что-нибудь изменить. Болезнь не смогла отобрать у него жизнь — Макар перенес шесть операций, но последняя «операция» — тут он бессилён.

Временами Макар переставал соображать, где он и что с ним, точно засыпал с открытыми глазами. Второй день ничего не ел — и не чувствовал голода.

Но не могло же так продолжаться вечно. Макар начинал злиться на себя. Да, брат, ненамного же тебя хватило. Скис, едва столкнувшись с настоящей бедой, заскулил, как слепой щенок. Но ты ведь человек и у тебя — голова на плечах, ты

думаешь, видишь, чувствуешь боль. Разве тебе этого мало, чтобы остаться человеком, быть человеком? Эй, на судне, право руля! Так держать!

Впервые за несколько дней Макар вяло улыбнулся, встал и пошел на кухню искать, что там у него есть из провизии.

С улицы доносились чьи-то голоса, шуршанье колес по асфальту, птичий переклик.

Было ветрено и солнечно.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Прошло еще несколько дней. Макар по-прежнему не чувствовал голода. В день, а то и в два дня, он съедал маринованный огурец или яйцо, — и то больше для того, чтобы желудок не отвыкал от пищи. Еще в больнице Овчаров получил от Вани Истомина вырезку из газеты, где рассказывалось о человеке, лечившемся добровольным голоданием. Он не ел сорок пять суток. И вышел победителем из этого нелегкого испытания.

Зная, что человек так долго может обходиться без пищи, Овчаров не беспокоился за последствия своей голодовки.

В первые дни он чувствовал страшную слабость, но потом стал быстро терять в весе, и с каждым днем у него прибывали силы. Дней через сорок аппетит стал постепенно возвращаться. Теперь Макар просил кого-нибудь из ребятшек купить ему молока или кефира, или нежирной колбасы — соблюдал белковую диету. И совершенно исключил из своего рациона жиры и углеводы. Он забыл, как пахнет хлеб.

Теперь он поминутно смотрелся в зеркало, ошупывал себя: жив, курилка? Ну-ну, пора, брат, входить в форму, пора... Однажды он вытащил из чемодана помятую, слежавшуюся форму, разложил все это на кровати и долго разглядывал, боясь решиться на самое для него, может быть, важное. Решился, наконец, торопливо снял с себя «цивильный» свой костюм и облачился в офицерскую форму. Он снова ее надел... Макар прошелся по комнате, разошедшие половицы поскрипывали под ним. И вдруг он понял, как нелепо выглядит он сейчас в этой форме — в кителе и разношенных шлепанцах на босу ногу. Он понял, что

нелепость происходит еще и оттого, что он, Макар Овчаров, попытался сейчас вернуть себе прошлое, а это невозможно. Медленно, словно прощаясь, Макар снимал с себя офицерские брюки, китель, аккуратно все это сложил в чемодан, и захлопнул! Да, надо уметь ставить и надо знать, где и когда ставить точку. Вечером он написал Ване Истомину письмо на заставу.

С заставы ему ответили, что уже год, как Истомин в Москве, учится в академии. Прислали его адрес.

Но писать ему Макар не стал — решил, что до Москвы-то он доберется как-нибудь, чтобы повидать старого друга.

* * *

После операции прошло полгода. Овчаров получил из Москвы вызов. Теперь он едет не лечиться, а на проверку.

...Утром, пораньше Макар отправился в институт. Который уж раз он приходит сюда! Только раньше к этим дверям его приводила суровая необходимость, а сегодня он пришел с ликованием в душе, с чувством победителя. Он вошел в вестибюль. Как раз вовремя: к восьми часам приходит новая смена сестер, а к девяти — врачи и остальные сотрудники. Как и ожидал, его почти никто не узнает. Даже — Зинка-корзинка. Сдаст пальто, смотрит на него и не может, наверное, понять — отчего же у этого парня рот до ушей. Повнимательнее присмотрелась, брови удивленно расползлись.

— Господи, Макар Иванович! А красивый-то какой стал, впору влюбиться...

— А ты влюбись, Зина.

— А что? Вот возьму и влюблюсь... Покрутишься тогда. — Говорит, а у самой слезы в глазах. — Ну, пошли к нам...

— Я чуть позже. Андриана Павловича подожду...

— Не дождешься, он в отпуске.

— В отпуске?.. — даже растерялся Макар.

— Он дома, он никуда не уехал, — успокоила его Зина. — Ему дали творческий отпуск. Он готовится к защите докторской диссертации. Ему же позволить можно.

Они вместе поднялись на пятый этаж. Позвонили.

Ждать пришлось совсем недолго —

через несколько минут явился Андриан Павлович. Бежит чуть не вприпрыжку.

— Поворотись-ка, сынку, как говаривал старый Тарас. Если бы не предупредили, ни за что бы не узнал. Как себя чувствуешь?

— Будет лучше — не обижусь. И так, как сейчас, тоже жить можно.

Андриан Павлович внимательно осмотрел Макара, спросил:

— Как питаешься?

— Соблюдаю диету. Интересно посмотреть, какие будут анализы.

— У тебя голодные отеки. Это не страшно. Но эксперимент свой заканчивай, — в голосе хирурга слышались строгие нотки. Потом он улыбнулся: — Можешь есть все подряд, не бойся, теперь можно. Мне-то ты доверяешь?

Макар только улыбнулся в ответ: а кому же еще и доверять!

В кабинет уже несколько раз заглядывали больные.

— Вон, уже понабежали, узнали, что ты в отделении. Пойдем, пусть посмотрят на тебя.

У двери собралось несколько человек. При появлении Андриана Павловича и Овчарова они сразу притихли. Макар отлично знает, о чем все они сейчас думают...

Кто-то тяжело вздыхает.

Макару понятен этот вздох: в нем и вековечное сомнение человека обрести счастье и никогда не покидающая его вера в то, что фортуна, так долго блуждавшая по свету, не сегодня-завтра набредет на него, и тут он уж заарканит ее! Этих людей совсем не пугает перспектива самим пройти через все то, что прошел он, Макар, их глаза горят надеждой, завистью, нетерпением, решимостью...

— Все врачи чуть что: Овчаров, Овчаров! А какой он из себя, не знал. Вот теперь сам вижу.

— А можно вас пощупать? — спрашивает кто-то, не то шутя, не то всерьез.

* * *

В Москве Макар ходил по музеям, выставкам — сколько хватало сил. А по вечерам — в театр. Ему порою не верится, что это он так свободно передвигается, идет, куда ему вздумается. И сидит ли он в кресле в полутемном зале, впитывая звуки настраиваемых инстру-

ментов, шорохи, покашливания, ходит ли по фойе, любуясь лепкой, искристо-прозрачным сиянием хрусталя и бронзы старинных люстр, держит ли бокал с янтарным игристым лимонадом, — все для него имеет особый, значительный смысл: если для остальных это в порядке вещей, то для него это праздник. Это прекрасно, когда жизнь кажется праздником, когда глоток обычной воды кажется изумительным. При каждом удобном случае Макар смотрит на свое отражение в зеркалах и это тоже доставляет ему радость. Он бродит среди людей равноправно — обычный человек и на него не очень-то обращают внимания. И это — тоже прекрасно. Люди, если бы вы только знали, как это здорово — затеряться среди вас! Быть рядом с вами.

* * *

Макар разыскал общежитие военной академии, а там — и комнату Истоминных. Дома была только Надя, Ванина жена.

— Здесь Истомины живут? — спросил Макар невысокую, славно похорощевшую Надю.

— Да. А вы...

— Здравствуйте... Надя! — сказал он радостно. — Разрешите представиться...

— Да ведь это Макар! — она чуть побледнела. — А изменился...

— К лучшему или к худшему? — пошутил он. Надя махнула рукой.

— Господи, ведь сколько лет... Все мы меняемся.

— А Ваня где?

— Должен бы уже прийти. Наверно, негодник, зашел в «военную мысль», — это мы тут неподалеку кафе так называем: бывает, по какому случаю зайдут наши мужья, выпьют там и решают мировые проблемы. А сегодня они сдавали последний экзамен, завтра у них начинаются каникулы, так что повод заглянуть туда есть. Но он должен скоро прийти. Извини меня, на кухне у меня тоже решается проблема...

Оставшись один, Макар стал с интересом оглядываться: маленькая комнатка, стол, два стула, диван-кровать, телевизор. И — книги. Много книг. Художественные, кое-что из военной литературы, остальные медицинские: по терапии, фармакологии.

Надя вернулась из кухни, накрывает на стол.

— Когда Ваня заканчивает академию?

— Через три года.

— А ты где учишься?

— В медицинском.

— Молодцы, ребята!

И тут явился Иван. Отворил дверь и застыл в изумлении, хлопая ресницами. Потом недоверчиво произнес:

— Мака-ар...

Бросились друг к другу, расцеловались.

— А я иду по коридору, а мне мальчишки докладывают: «Дядь Вань, а у вас гости...» Какие, думаю, еще гости, кто? Понимаешь, мы написали тебе, а письмо вернулось... Думали, если жив, уехал домой — напишешь. А письма нет и нет. Мы и решили... А ты — вот он! Ну, как? Кстати, а почему ты один, где Дина?

— Тю-тю Дины, — сказал Макар. — Потому и не писал.

Ваня сразу осекся. Начал раздеваться. Скинул шинель с капитанскими погонами, повесил. А когда повернулся, на груди его Макар увидел орден Красной Звезды. Ваня совсем не изменился, даже не возмужал. «Интересно, он и сейчас боится майских жуков? Подкинуть бы ему парочку...» Макар рад, что ни капитанство, ни орден, ни академия не изменили его, держится Иван просто, не важничает. И так хорошо Макару рядом с Иваном, славным товарищем, так хорошо ему, что Надя хлопочет, собирая на стол, улыбается то одному, то другому, то обоим сразу.

— Ребята, а где же у вас третий? — спросил Макар.

— Третий лишний, — смеется Иван. — Погодим еще чуток... Будет вам и белка, будет и свисток. Давай за стол. И рассказывай все подробно.

— А что мне рассказывать. Это ты рассказывай — как там на границе? Да, поздравляю тебя с орденом.

— Спасибо. Знаешь, — задумчиво сказал Иван, — а я бы за такое вот, что совершил ты, давал особые ордена, самые высшие.

Макар засмеялся.

— Узнаю щедрость истоминскую. — И тоже построжел. — А я бы, Ваня, этот орден отдал Андриану Павловичу Хирругу. И человеку, с большой буквы, брат, Человеку. Хочешь, — обернулся он к Наде, — я познакомлю тебя с ним.

— Ну, ну... — погрозил Иван пальцем. — Предлагаю тост за Человека с большой буквы. Неважно, где этот человек живет, где работает — просто за Человека.

Чокнулись, хрустальные рюмки тонко зазвенели. Макар выпил холодного лимонаду и ему стало совсем хорошо, так хорошо, что радость искала какого-то выхода.

— Ребята, — сказал он, — а что если мы тихонечко споем. Нашу, пограничную. А?

Надя запела, а они с Иваном подержали.

Крутится земля, крутится, а по земле идет Человек, идет... Живи, Человек, будь, Человек, счастлив!

* * *

Была уже глубокая ночь. А Макару не спалось. Он лежал, глядя в темноту, и думал. Рядом сердито, по-стариковски, кряхтел холодильник, щелкало у него там что-то, затихало и снова щелкало. Четко тикал будильник. Да, думал Макар, люди погибают для того, чтобы спасти других. Вот и Медынец, почти мальчик, умер на операционном столе.

На том самом, на котором был спасен Макар. Нет, ничто не уходит бесследно, ни одна человеческая жизнь — плохая она или хорошая. И ему, Макару, наверное, кто-то обязан своей жизнью. Если это так, то он готов рискнуть еще тысячу раз и перенести в тысячу раз больше того, что было. Да, он готов к этому. И он сознает, что жизнь не судит ему легкой дороги. Впереди — новая борьба.

Он знает, что такое подъем по тревоге — когда ты несешься на коне в темень, дождь, ветер, слякоть. Он этого никогда не забудет, потому что это было с ним и с ним осталось.

Но все это было только начало, разбег для полета через всю жизнь... А потом — борьба не на жизнь, а на смерть. И он сумел выйти из этой борьбы еще более сильным.

Но что значит прошлое?

Если жить одним прошлым — без настоящего, без будущего — тогда жизнь снова потеряет смысл...

Уснул Макар под утро. Спал крепко, без сновидений. Вставшие рано Иван и Надя ходили на цыпочках, говорили шепотом.

Начинался новый день.

Владимир Косарецкий — сельский житель. После окончания десятилетки он работал трактористом и комбайнером. Сейчас сотрудник Павловской районной газеты, где нередко появляются его стихи. Стихи В. Косарецкого публиковались и в краевых газетах.



Владимир КОСАРЕЦКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ЖУРАВЛЬ

Качается дым бирюзовый.
Запутался хмель в городьбе...
Опять по сердечному зову,
Село, я вернулся к тебе.
Все то же: и воздух, и солнце,
И роща свежа и бела.
Но где тот журавль у колодца,
Что был на отшибе села?
А помню, мамаша шутила,
Сходить за водою веля:
— Возьми-ка ведро, мой милый,
Беги попоп журавля.
Иные теперь перемены:
(Журавль улетевший не в счет).
На крышах сверкают антенны,
Водичка по трубам течет.
И жизнь свою строит иначе
Крестьянин, хозяин земли.
Отвык он седлать свою клячу,
А все норовит «жигули».
Никто из крестьянского люда
В душе не клянет свой удел.
Зачем горевать, коль отсюда
Последний журавль улетел.

У РЕКИ

Ночь, как в сказке. Лыдинкой тонкой
Выплыл месяц из-за туч.
Где-то булькает незвонко
Меж камней бессонный ключ.
Где-то кричат коростели
В росных травах на лугу.
И туман, как вату, стелет

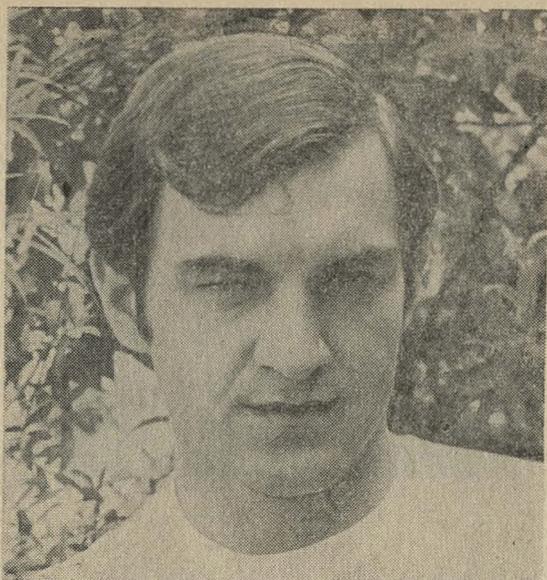
Ночь на спящем берегу.
Смокли птицы в перелеске.
Тишина, покой везде.
Лишь дрожат от рыбьих всплесков
Звезды, спящие в воде.

ОКТЯБРЬ

Стряхнули рощи золото в ложбины,
Не ходит грач у свежей борозды,
И у костра пылающей рябины
Отпировали серые дрозды.
Блестят, как сталь, ковыльные метелки,
Меняет шубу заяц-попрыгун,
В ночных полях опять блуждают волки,
И месяц рогом роется в стогу.
На плесах рек тревожен крик утиный.
Лежит туман, как облако, в доли,
И ветерок на длинных паутинах
Играет гимн последнему теплу.

МОРОЗНЫМ УТРОМ

Холод щеки колет, как иголкой,
Расщепляет сосны и дубы.
И стоят над крышами в поселке
Дыма стометровые столбы.
Словно жидкость, воздух синий-синий —
Все как в сказке, а не наяву.
Даже сам я, выбеленный в иней,
Не иду, а, кажется, плыву.
Снег, лучами первыми политый,
Разукрашен в яркие цвета,
И стоят над речкою ракиты
Никаким шедеврам не чета.



Евгений Скворцов родился в Ярославле. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по экономическому факультету. Хорошо знаком с работой пожарника, тракториста, грузчика, агронома, экономиста и вообще с сельским трудом. После института работал в районной газете заведующим отделом. Сейчас редактор на Барнаульской студии телевидения.

Заочно учится в литературном институте имени Горького. Печатался в «Молодежи Алтая», альманахе и других изданиях.

Евгений СКВОРЦОВ



ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ИЗ ПОЭМЫ

И душу и тело пронзили седые березы.
Кружением легким пульсирует жилка в висок.
Мы пьем, и не хмелея, мы слишком сегодня
тверезы,

И в наши ладошки стекает березовый сок.
Весеннее небо и запах лесного настоя —
Все то, что имеет над сердцем незримую власть.
Мы — люди. Нам жить на земле полагается стоя,
И горько подумать, что все же придется упасть.
Да! Это случается в жизни везде и со всеми,
И в этом всегда справедлива, правдива она —
Все падают дважды на землю — сначала,

как семя,

А после, как то, что уже не дает семена.
Так будет. Сейчас же идет возрождение повсюду,
И я припадаю всем телом, как к матери, к ней —
Стань лучше, прекрасней, пока еще есть я и буду.
А после... стань лучше, чем даже при жизни моей.
Так хочется жить, чтоб высокое солнце светило,
Так хочется верить в наш общий,

в наш трудный успех,

И в счастье такое большое, чтоб счастья хватило
Ну если не вдоволь, так хоть понемножку на всех.
И в Родину верить суровою верой мужскою,
И верить в нелегкую честную силу строки,
Как верили в нашу Победу в снегах под Москвою
Стоявшие насмерть сибирских дивизий стрелки.

Вечереет, и тоненько звякает стеклами вьюга.
И, гудя, разгораются в печке голландской дрова.
«Вьюга, вьюга», — ты шепчешь, а слышится —
«Внука бы, внука»,

Словно, мама, нарочно ты путаешь эти слова

Я сноху приведу тебе в дом, вот уляжется вьюга,
Чтоб она твою старость хранила, как дочка, любя,
И тебе воспитаю красивого умного внука —
Только дай воспитать мне сперва,
хоть немного себя.



Спасибо, что ты стала не нужна.
Что это и награда мне и кара.
Спасибо, что со мной ты не нашла,
Того, что так мучительно искала.
Спасибо, что в любви была слепа,
Спасибо, что любви меня учила,
Спасибо, что на дерзкие слова
Могла ответить нежно и учтиво.
Что волосы мои любила мять,
Что ложью не был наш союз опошлен...
Спасибо, что была ты словно мать —
Ведь разве можно быть на свете большим.
Спасибо, что любовь с тоской мира,
Ты поздней ночью открывала двери,
Спасибо, что ты верила в меня,
Когда уже я сам в себя не верил...



Борис Стукачев работает в Бийской районной газете. Заочно окончил Литературный институт имени Горького.

Печатался в альманахе «Алтай», краевых газетах.

Борис СТУКАЧЕВ

ИЩУ СОБАКУ

(РАССКАЗ)

С женой Егорша не ладил. Когда Алка уехала, бабы в деревне засудачили: отслужил только срочную, полдома колхоз выделил, жить бы да жить — и на тебе.

Егорша уходил из Листвянки утром. Кольцом-щеколдой звякнул — кольхнулась шторка в окне Шемонаихи — и сама она на крыльцо вышла. В ограде на сыром ветру белье сохло.

— Поди на Митрохину переправу? — полюбпытствовала она.

Егорша кивнул.

— Мой, бывало, тоже — чуть взбрыкнет и туда. Река она мозги направляет. — Умолкла на минуту, задумавшись о чем-то, вздохнула. — Молодые ноне уж больно капризны. Чуть что и друг от дружки. А твоя-то с характером. Ей бы не такого мужика надо. — И уж вслед Егорше. — Эх, парень, упустил девку. Ты давай постирушки, какие будут, приноси, не стесняйся.

Избушка бакенщика отбежала от деревни километра на три и спряталась в расплеске ивовых кустов, березок моло-

дых и дикой малины. И не насмотреться ей было в студеную воду, потому что вода голубела, стояла еще высокой, лед прошел, разломал дороги. Подрезанные половодьем деревья стояли наполовину в воде, готовые упасть, но не падали.

Егорша пришел в избушку не первым. Старого бакенщика похоронили два года назад, а гидрологи оставили после себя погнутую вертушку с обрывком кабеля, обшарпанную промерную рейку да пушенную от щелястого комля надпись: «Если ты пришел сюда только есть, это не значит, что ты есть исследователь».

В сумеречной сырости кучкой темнел кирпич и куски глины, скелетились деревянные угольники бакенов.

На правах хозяина Егорша осмотрел тяжело осевшую от воды лодку — она разохлась и давала в корме течь, выбросил прошлогоднюю осоку и наплавленную травяную мелочь, попробовал конопатить, но долото верткое, пакля не шла в паз, мочалилась, ладонь потела...

Совсем бы отчаяться Егорше, но греет его ожидание. В институт Арктики со штемпелем «Авиа» летит его письмо. Белое безмолвие, ледяные торосы, иссиня слепящие сколы льда, жизнь полярников — такое Егорше наяву видится. И работу, чтоб кости ломило, на выдох. Говорят, она лечит.

Егорша садится на землю, прислоняется спиной к борту и смотрит на воду. Это только казалось, что вода стояла. Река сразу подхватила его и понесла.

Большерукий, неуклюже сидит Егорша на берегу, и чудится ему, что стронулся мысок, на котором сидит он, и пошел встречь волнам, и поплыл он, Егорша, а не река, мимо берегов, печальных и одиноких.

Первое время у них с Алкой все ладно было, мир да согласие. И трактор Егорши стоял готовый к севу, и половинка дома своя появилась, проглянув на свет новой шиферной крышей, и мечта о сыне родилась.

Алка подходила к нему, прижималась телом податливым, мягким, теребила капризно: «Егоршик-Егоршик, ты меня любишь? Скажи — да! Ну! Раньше ты меня Аленьким звал. Это из сказки, да? Ну не молчи же!». С Алкой у него в душе покой был.

И вдруг все это рухнуло.

По весне скворцы прилетели. Егорша ладил скворешню, лез на тополь. Хорошую скворешню смастерил. Сейчас там воробьи живут. А зимой с городского базара картину «Девятый вал» привез, ей песцовую шапку хотелось. Они долго и не спорили. Оба были молоды и горячи. Алка уехала на Кубань, где жила до замужества, оставив записку: «Устала я. Ухожу. У всех мужья как мужья — у тебя все не так. Мне ведь ничего и не надо было, только чтобы ты к дому рос, стремился маленько. И смотрел, как другие живут. И что в этом плохого — все в дом нести? А у тебя нет. Даже соседи «коколотнем» зовут. Прощай, Егор».

Грустно Егорше. Полныню горькой обдало его Алкино письмо. Возразить ему хочется, взять ее руки в свои, согреть, подышав осторожно на пальцы.

Нет Алки, нет покоя в душе. Смотрит Егорша на реку, которая все несет и несет мимо тальниковую крепь, песчаную отмель, где нужно ставить ему красный бакен, дальний лес, берег.

На высокой воде белесые ивовые кусты половодьем подрезаны, опрокинулись, упадут вот. Тополь только почку набрал, еще не отпочковался, и был слабый и беззащитный, но дальние забереги уже подернулись светло-синим.

Смотрит Егорша на реку и копятя в нем слова, которые сказать — плакать

можно, ребят вспоминает, службу матросскую, боцмана. И от этого по-разному становится на душе: то ему жаль чего-то, не то себя самого, не то реку и берега эти, а то вдруг сердце ознобом обдаст, или, наоборот, тепло станет и весельем закружит. Будто знает кто-то, что вон он, Егорша, есть на белом свете и что он может и все так видеть и чувствовать.

Копятя в душе Егорши слова и смотрит он на реку, и плывет по ней, и уплыть не может.

* * *

Егорша — бакенщик и перевозчик. В колхозе старики и те норовят найти работу не такую старомодную, а Егоровы сверстники и вовсе. Но у Егорши есть свое оправдание — он ждет вызова.

Если бы не Алка, новая жизнь не тяготила — лес для сплава валяли в верховьях реки и редко пройдет буксиришко-другой со связкой плотов.

Каждый вечер выносил он из избушки весла, которые всегда рассыпались, шли вразброс, прихватывая лампешку и старый бушлат, забредал в воду, с излишним усердием сталкивал лодку с берега и наваливался на борт. Висел немного. Лодка вихляла и чуть не брала бортом воду.

С растягом и силой выгребал лодку, так что поплескивала, пошумливая вода, плыл к высокому бакену и засветлял его. А потом, и совсем бросив весла, сплывал к другому. От него до берега и вовсе десять раз гребнуть.

Створ реки неширок. Это ниже, когда сосны с березами по взлобкам пойдут, река силу возьмет, а здесь, напротив середиша-острова с ивовыми кустами и тополиным подсадом, — вода тихая, не норовистая — нравится Егорше тут жить. Да и случайных пассажиров через всю реку переплавлять не надо — за островом узкая протока, через нее навесной мостик переброшен. Отсюда одинцовские пацаны чебака да пескаря берут.

Перевезет Егорша пассажира до острова, тропку укажет — и обратно к себе в избушку. А то и проводит. В одинцовский магазин зайдет, в клуб. Денег Егорше хватало — заработок был.

Хоть и копил Егорша на мотор, друзей встретит — не жалеет. Деньги что

пыль — нету и снова будут. На что они ему, одному? Друзья рядом. Душу до дна обнажить можно.

Кровь со щек сходит, когда выпьет Егорша. Веселый, разговорчивый становится, а то девок с ребятами на реку потащит, катать станет.

Как в избушку придет, случалось, не помнит.

А на утро Егор болеет. И не столько от выпитого, сколько от невозможности поделиться рассказом, попереживать заново, преувеличенно посокрушаться над собой, головой в стиснутых руках покачать.

Потом забудется, походит, послоняется от избушки к берегу и в тенек спать уйдет.

В один из таких дней и разбудило Егоршу ровное сытое постукивание мотора. По хорошей тяге определил он и марку — «Вихрь».

Еще песчаная гривка закрывала моторку, Егорша встрепенулся и, не успев отойти ото сна, неуклюже и тяжело, заваливаясь на бок, засеменил к избушке. Плеснул в лицо пригоршню воды, ладонями враз пригладил волосы, оправил рубаху и, когда лодка, круто повернув и оставив за собой полудужьем водяной след, скрипла дюралевым днищем о гальку, выступил ей навстречу, улыбаясь беззаботно и извиняюще.

Это были те ошалелые от каменной духоты города люди, которым все равно, где останавливаться и что делать.

Они много суетились. Выбросили на берег два рюкзака — оказалось, что не эти, покидали их обратно в лодку и, наконец, нашли то, что нужно.

Странная и одежда на обоих — зеленая фетровая шляпа и спортивные брюки с кедами на пожилом, а высокий чернявый парень выбросил к ногам Егора демисезонное пальто. Держа мелкашку за ствол, неловко вступил прямо в воду.

Не успев поздороваться, парень старую присказку в ход пустил: «Дай, хозяин, воды напиться, а то жрать охота, что переночевать негде». — И подал руку. — Славка.

Егор сразу понял — неделовые люди. И оживился. Таких он любил.

Славка стал вытаскивать лодку на берег.

— Далеко не выволакивай, — крикнул пожилой.

— Ничего, сопхнем.

— Ты давай не стесняйся, — вдруг говорит кто-нибудь среди разговора и двигает к Егору закуску. Егорша лениво-небрежно протягивает руку, двумя пальцами берет кружок колбасы или перышко зеленого лука, похрустывает. К разговорам прислушивается, прикидывая в уме, что к чему, и сам охотно вступает в разговоры.

Славка и за столом суетится, хватается то за одно, то за другое.

— Ну, что, вздрогнем?

— Слышь, Егор, скажи: за три года, что мы по воде ходим, сколько рыбки взяли? Не знаешь? Центнера два. Вот и получается — чтобы ушницу на реке отпучивать, надо из рыбного магазина прихватывать. Кумекаешь? — Славка стал чистить ножом порослячью морду прошлогодней редьки. — Неперспективное это дело. Ты два-то, пожалуй, за вечер берешь?

— Не пробовал.

— А детишкам на молочишко? А королеве сердца?

— Не к чему. Один я. Была жена, уехала.

В другой раз не признался бы Егорша сторонним людям, но добро сделать охота, благодарность.

Славка вопросительно смотрит на Егоршу, крутит головой.

— Поистине, хочешь разочароваться в любимой — бери ее в жены. Но рыбную протоку ты нам показать должен.

Солнце скатывается за остров, но река еще несет на волнах его отблески и свежестью резче пахнет. Мельче стала волна, на выходе из одинцовской протоки, обросшей у берегов камышом и осокой, густо взбив воду, поднялись на новую кормежку две утки. Егорше слышится сухой шелест их крыльев.

Разговор переходит на другое. Славка, стоя на коленях, продолжает рассказывать, обращаясь больше к пожилому.

— Это как-то заходит Васса из конструкторского и к нам: мальчики, не окажете ли вы любезность — пару чертежиков размножить? А мы знаем, что кабэшники зашились, невпроворот им, и нос воротим. Она: «Василий Захарович, пожалуйста! — Это Ваську-то! — Люди ждут, помочь надо». Я моргнул. «Давай чертеж, давай заказчика». Трешка — и то деньги, — и хитро подмигнул Егорше.

— Ты прав, зашились, — отозвался

Михалыч, — одна Антроповская поилка пятьдесят тысяч рубликов экономии тянет. Он сам работает — будь здоров.

Как сквозь сон доносятся до Егорши голоса.

— Я тебя понимаю, Михалыч. О нем можно уважительно сказать: он работает. Напористо, зло, не оглядываясь.

— Именно по-настоящему. У него верлибр под стеклом на ватмане написан. Слушай:

«Живу ли я?» — Конечно! — успокаивает Дарвин.

«Живу ли я?» — Не знаю, — улыбается Сократ.

«Живу ли я? — Надо жить! — кричит Маяковский и предлагает мне свое оружие, чтобы проверить: живу ли я!».

— Ах, прелесть! Ах, сатанинская сила слова! — Славка запотирал руки. — Человек в трех ипостасиях...

— Как это? — не понял Егорша.

— Все просто, — ответил Михалыч. — Биологически человек живет и сомнений здесь быть не может, Дарвин, в частности, прав. С философской точки зрения, по Сократу, надо посмотреть — как живет. А Маяковский — боец: если ты оставил что-то людям — ты готов умереть.

Егорша слушает молча, пошевеливает в костре палочкой, захмелевает от вина, от красоты реки, от причастности к хорошему разговору. Такие вечера для него праздник.

— Вот ты, Михалыч, — перебил Славка. — Счастливый ты человек. Воли вон сколько. А на кой она мне, думаю, если все для себя только? Красота-то в тебе самом и умирает.

— Ты прав. Абсолютно. От такой красоты — самая малая польза. И если не передать людям красоту во всем ее многообразии, наполненности жизнью — такая красота малого стоит.

— Слышь, Егор?

— Угу.

— Он говорит: угу! — Славка картавил и явно подтрунивал над Егоршей. — Ишь, философ. Живет в салаше и рыбки не имеет. Обленился. Ну-кась, извольте вас потревожить. Силенка есть — нет?

Егорша встал. Возня и кряхтенье явились продолжением разговора. Егорша и Славка боролись на поясах. Подсечки были неловки и медлительны. Егорша брал молодостью и силой. Их напряженные сгорбленные фигуры медленно пере-

мещались вокруг невидимой оси и борьба походила на причудливый ритуальный танец.

Вскоре, тяжело дыша и отряхиваясь, Славка с Егоршей подошли к костру.

— Право, как дети, — Михалыч встал, потянулся, размял кости.

Потом прошел к лодке, извлек со дна деревянную треногу, плоский фанерный ящик, сказал: «До мыска вон». И пошел по речным заплескам, оставляя на песке ниточку следов. Полы демисезонного пальто крыльями хлопали по голяшкам сапог.

Славка вслед крикнул:

— «Живу ли я?»! Нас не рисуй, засмеют в отделе.

И продекларировал: «Живопись — единственное, что мне не изменит, если не изменю ей я!».

Михалыч погрозил ему кулаком.

Славка сел, обхватив колени руками.

— А хочешь, — вдруг обратился к Егорше, — в город? На заводе слесарить будешь. Устроим. Общагу дадим, а?

Егорша отнекивается, но не сразу. Медлит, задерживается с ответом, хотя знает, что пока не придет вызов, никуда отсюда не уедет, а будет жить здесь, среди речной воли, песчаного плеска и лугового разнотравья.

— Ну, не век же тебе здесь куковать! — настаивает Славка. — Мигом женим.

— Подумать надо, — тянет Егорша и виновато улыбается. Потом, снисходительно усмехаясь и чуть подсмеиваясь над собой, начинает рассказывать о себе, об Алке, о том, что встало между ними.

Славка качает головой, сочувствует, утешает:

— Ничего. Спohватится, прибежит, а ты не принимай. Настоящим мужиком будь.

...На листе ватмана увидел Егорша акварельный набросок — широкую пойму, два бакена, белый и красный, на взъерошенной реке избушку, выбежавшую на берег, да так и застывшую в изумлении. Верховой порывистый ветер гнул верхушки деревьев на острове, избушка стояла нахохленной, одинокой. От дома к воде вела узкая тропка. На берегу заякорена лодка.

С пронзительной обнаженностью Егорша вдруг узнал свое, Егорово, место, свою избушку. От дыма костра, ломко плывущего над рекой, исходила тревога.

Егорша постоял еще и повернул к лодке.

Он представил, как балагурит Славка, вспоминая былые похождения, может, говорит и о нем, Егорше, и как Михалыч сидит у костра, остепеняет его. Он, видно, любит всех людей и рисует потому, чтоб еще лучше быть, неброской добротой светиться. Только зачем такие люди разные сходятся?

Небо крупно вызвездило, когда в сумерках он зажег верхний бакен. Сплывая вниз по вечерней воде, слышал, как горожане укладываются на ночлег, перекликаются. Егорша бросил весла, река тихо снесла его мимо бакена.

Ему было неспокойно.

Проснулся Егорша со смутным чувством потери. Ни одной из вещей, разбросанных гостями накануне, он не обнаружил. И спал вроде сторожко, вполуха. Егорша поднялся и увидел на табурете прислоненную к стене вчерашнюю картину. На сложенной вчетверо листке бумаги прочел: «Уважаемый Робинзон, зовет нас шальный ветер странствий. Куда, зачем — еще не знаем. В тумбочке найдешь эликсир. Надумаешь в город, приезжай. На твоей «бригантине» далеко не уедешь. Активней жить надо, утверждаться».

«Славка», — подумал Егорша.

Весь день он провел под впечатлением встречи, мысленно соглашался с гостями, спорил. Попробовал было заняться ремонтом, работа не шла, валилась из рук.

Накануне вечера мысли его оставались там, с уехавшими.

...В Одинцовке только что прогнали коров. Над дорогой еще висела тонкая пыль, пахло разнотравьем луговой некости, парным молоком, с реки доходила прохлада.

На сваленных кучей бревнах у крайнего дома сидели захмелевшие парни. Егор услышал обрывок разговора:

— Я его хлесь, а он стоит. Я его снова хлесь.

— Кого?

— Сохатый. Красивый, стервец.

Егор прошагал мимо.

На дверях магазина висел замок, ставни закрыты железной поперечиной.

Егор свернул в переулок к наново рубленому дому. У ограды стоял конь под седлом, у калитки и во дворе еще валялись щепы и стружки.

На крыльце он встретил Марию, черноволосую, худенькую женщину, завязанную платком, она собиралась идти к скотине.

— Вроде и парень ничего, а непутевый — шастаешь. Как жить-то дальше будешь?

— Секрет имею.

— Эх, милоч, милоч.

За околицей Егор пожевал захваченной с собой вяленой рыбы, посидел, разбросав ноги, и лугом стал спускаться к реке.

Из деревни доносился далекий призывный мужской окрик:

— Ле-е-ешка. Леш-ка-а!

В Егоровой лодке на кормовой доске сидел мальчик лет двенадцати в закатанных до колен штанах и держал на поводке собаку с черной спиной и рыжей подпалиной на груди. Собака мелко вздрагивала и жалась к ногам мальчика.

— Пассажир, значит? Это хорошо, — Егорша выбрал весла. — Утверждать себя надо.

Мальчик не ответил.

Егорша уперся ногами в настил, вырулил против течения и заплескал мерно. Выгреб уже на середку, спросил снова:

— Значит — Лешка? Куда из дома-то? Мать, поди, всех дружков обежала, а ты кататься, — и перестал грести. Мальчик трепал собаку за ухом.

— Не, она знает...

— А отец?

— Из-за отца и ушел. Он грозился Македона пальнуть.

— Собаку, что ли?

— Ну.

— А если бы меня на берегу не было?

— До утра бы пождал, а там вы бакены гасите.

Егор удивленно мотнул головой и налег на весла.

Причалив к берегу, Егорша вытащил лодку из воды, подождал мальчика с собакой и пошел тропкой к избушке.

— Ну, Алексей, рискованный человек, заходи.

Егорша отворил дверь, зажег лампу, локтями сдвинул алюминиевую солдатскую миску и кружку на край стола.

— Переночуешь, а завтра все образуется.

— Поеду. — Мальчик все стоял у по-

рога, перебирал поводок, собака жалась к его ногам. — Мне мамка сама сказала: «Не попадай на глаза пьяному». Но он только пугает, не трогает. Как пьяный бывает — кричит, лает. А потом снова человек будет. Они с мамкой всю жизнь так.

Егорша похаживал по скрипучим половицам — ведро двинул под лавку, суконное одеяло на койке одернул.

— Ты вот что, Алексей, ночуй-ка у меня. Куда на ночь-то? Я съезжу — шепну матери: у меня, мол, парнишка.

Ленька решительно качает головой.

— Мамка тогда скажет все. А батька крутой — пристрелит Македона.

Ленька осмелел, освоился.

— Собака на все сто. Пескарей за мной носит. Прибилась к деревне в паводок, отошала, по дворам шаталась, а там у каждого свои брехуны — разве добудешь чего? Сейчас из чужих рук не берет, не то что по курятникам шастать. Гордая. Сегодня у соседа два десятка яиц пропало — я говорю, куда ему столько? А батька: вот пристрелю, тогда проверим. Несправедливо это. Македон давно разбойничать бросил. Пусть побудет у вас, пока я в лагерь езжу. А дядя Егор? Поживешь, Македон?

Собака подползла к Леньке на лапах, подметая хвостом пол.

Ленька хвалил собаку, а Македон прищуривал глаза, склонял на бок голову, поводил мордой.

— Раз батька стрелил — вон ухорваное. Тоже пьяный.

— Закаленные, стало быть, вы с Македоном. Понимаю. Пусть живет. Не обижу. Для собаки река и воздух первое дело.

Егорша стал подремывать за столом, думая об отце Леньки. Привиделось ему, как тот шастает по двору, пихает дрова, наколотые утром, и, задыхаясь, пьяно кричит: «Где он? Убью-у-у...»

— Дядя Егор, поплыли, а то вправду побьет он меня.

Егор очнулся.

— Да как он смеет такого пацана бить? Поедем, Ленька, я ему покажу, как обижать сына.

— Не надо, дядя Егор. Это от контузии у него. С войны еще. А так он добрый.

Мальчик привязал ремешок ошейника к ножке стола, потрепал собаку за ухом. Зашептал ласковые слова.

А Егорше вдруг Алка вспомнилась, как он, Егорша, приехал к ней с флота, как любил ее, как хотел сына.

...Егорша отвез Леньку в Одинцовку, постоял за околицей, и когда белая рубаха скрылась из виду, поплыл обратно.

Собака встретила Егоршу миролюбиво, но особых симпатий не выказала — помахала хвостом только.

Егорша бросил ей свой бушлат, потрепал за ухом. — Ах ты, морда твоя! Будем жить.

Собака ушла в угол и положила голову на лапы.

Егорша задул лампу, прошел к койке и, не раздеваясь, как был, упал в подушку.

* * *

С появлением собаки хлопот Егорше прибавилось. Теперь засветлять бакены он возил Македона с собой. Скорее от любопытства и возможности позабавиться Егорша заплывал на середку, где отмель не далеко и не глыбко, окунал Македона в воду и, наваливаясь на весла, начинал размашисто и ходко уходить к берегу. Вскоре Македон попривык, освоился и даже без надобности бултыхался в воду и сам плыл к избушке.

На берегу Егорша кормил собаку, курил, прятался в тальниковых кустах, катался в траве.

— Живем, Македон! Подожди, не то будет.

Когда Егорша уходит в Одинцовку, он оставляет собаку в избушке. Македон подает голос, как только услышит плеск весел.

В тот день Егорша ходил в Аникинскую контору леспромхоза, где ему причиталось «тридцать девять целеньких», не водой, как обычно, а пешком, через перелесок и пашню, овражком и выгоном. На выходе нырнуть под верхнюю жердь, обойти приземистые деревянные склады и тропкой, избитой протекторами «Беларусей», мимо штабелей леса к конторе — «здрасте».

Егорша потолкался среди народа, в клуб заглянул, покурил с мужиками.

Под вечер, чувствуя приятную тяжесть в желудке и рюкзаке — двухнедельный запас провианта плеч не тянул — вернулся к избушке.

Подходил крадучись, на цыпочках. Он знал — его ждут. Звякала цепь — Егорша замирал, похолодев, и стоял в ожидании. А то вдруг будто нечаянно шелестел веткой и снова чутко прислушивался. А если Егорша не чувствовал настороженности, то нарочно похрипывал, похрюкивал в отдалении, шуршал кустами, а потом вдруг возникал, являлся мокрым и счастливым от росы, растерянный, и стоял, опустив руки и чуть шевеля пальцами, ощущая шершавость и преданную теплоту собачьего языка.

Но собаки не было.

В избушке на столе лежал конверт, на бумаге с грифом «Ленинградский Арктический и Антарктический институт» напечатано: «Уважаемый товарищ! Смена полярников дрейфующих станций производится в январе-феврале. Комплектованием очередных групп институт зани-

мается заблаговременно. Спасибо за предложение. Клиников».

Долго не спал Егор в тот вечер, слепо нашаривал спички, закуривал.

Завтра, как упадут косые лучи солнца на землю, из росных кустов будут с шумом вставать на крыло перепелята, зазвонит, высверливая серебро воздуха, жаворонок, зайдет песней и, покажется, вот-вот разорвется птичье сердце от безумного гимна полям, земле этой.

Завтра некуда стремиться Егорше, не с кем ходить по полям, не о ком заботиться, некому излить душу, и не будет человеческих сил, чтобы вобрать в одно сердце красоту утра, одного сердца не хватит.

Жгут, обессиливают его думы эти. И надо бы начать жизнь сызнова.

...Полыхает лето, а Егор плачет
И горько, и сладко ему.

Электронная библиотека АКУНИИ. elibrary.ru



Ольга Акиньшина после окончания средней школы работала на Барнаульской студии телевидения, сейчас сотрудник редакции районной газеты «Путь к коммунизму». Учится заочно в Уральском университете им. Горького на факультете журналистики.

Печаталась в краевых газетах, альманахе «Алтай».

Ольга АКИНЬШИНА

УТРО В ЛЕСУ

Рассветы наступают очень тихо.
Уже не спишь, но видишь, как во сне,
Что муравьишке на большой сосне
Показывает солнце муравьяха.

И нежность по утрам светлым-светла,
Я со щеки твоей смахну хвоинку.
Пойду на цыпочках босая по тропинке
К костру,
почти сгоревшему дотла.

В ладошках поднесу тебе воды,
Свое до капли выпьешь отраженья,
И на губах,
смешных от удивленья,
Чуть влажные останутся следы.

Знакомая сорока-белобока
Нам на хвосте доставит новый день.
Присядь со мною рядышком на пенё,
Позавтракать пора перед дорогой.

НАЧАЛО ЗИМЫ В ДЕРЕВНЕ

Когда метели осень выживут,
На холод жалуюсь немножко,
Я тополя припомню рыжие,
Что осыпались под окошком.

Не распахнувшись, стыли ставенки,
Бесстрашно в лужах отражались.
И неуклюжие завалинки
К домам обветренным прижались.

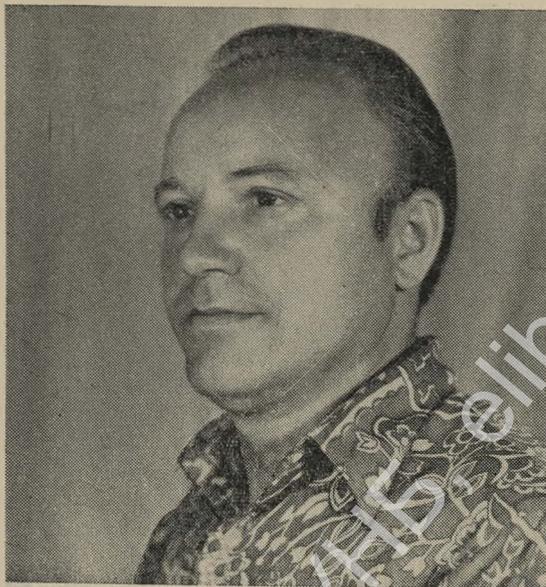
Иду несмело, как опальная,
Под хруст протоптанной тропинки.
Но вдруг почувдится печальное
В продрогшей тоненькой рябинке.

Но вдруг почувдится тревожное
В упавшей с неба белизне...
И затаятся очень сложное
И очень доброе во мне.

Остановлюсь среди тихой улицы,
Снежинку сдую с рукавицы.
Как хорошо! И как мне хочется
Избушкам в пояс поклониться.

Леонид Ершов родился на Алтае, в селе Залесово. Работал на Алтайском тракторном заводе. После окончания Бийского пединститута учительствовал. Сейчас редактор многотиражной газеты «Боевой темп» в Рубцовске.

Печатался в краевых газетах, альманахе «Алтай».



Леонид ЕРШОВ

ПУШКИН

Свинец лежал комочком жалким
В литой утробе пистолета.
Никто в тот миг не знал, пожалуй,
Ни мыслей и ни чувств поэта.
Безмолвно было на опушке,
Торчали статно секунданы.
Надменно — он, и гордо — Пушкин.
И ждали роковой команды.
Свинец лежал, возки чернели,
И облака по небу плыли...
Был выстрел — покачнулись ели...
Как просто Пушкина убили.

Е. Голубцову

Все в жизни проходит как будто,
Всему есть предел свой и грань.
Наступит последнее утро
И первая тихая рань.
Гуляют и пляшут метели,
И все, как обычно, течет.
Давно уже в прошлом дуэли,
Но лишут поэты еще.
Но часто еще их за веру
[А вроде спокойно живут!]
К невидимому барьеру
Враги беспощадно зовут,

НОЧНЫЕ ПОЕЗДА

Люблю ночные поезда,
Их мерный стук, в вагоне дрему —
Не важно еду я куда:
Домой или опять из дому.
Сидеть у темного окна
И вдруг, к нему прижавшись плотно,
Увидеть — батюшки! — луна,
И поле, хоть пиши полотна.
Вдруг затерявшийся в ночи,
Сверкнет огнями полустанок,
А поезд мчится и стучит,
И отчего-то грустно станет.
И черною стеной стоят
Леса. И мне никак не спится...
Как встречный будто бы промчится
Передо мною жизнь моя.

Ах эта заячья охота —
Ни дать, ни взять.
Ты в наступленье, как пехота,
Но только некого стрелять.
Идешь — ружье наперевес,
Петляешь заячьей тропой.
И хмурится еловый лес,
Следит ревниво за тобою.
Вдруг среди стволов мелькнули уши,
Смотрю — присел: ну, мол, погиб...
Я покурю немного лучше,
А ты... беги себе, беги.

Валерий Максимович Извеков родился в 1945 году в Челябинской области. Окончил факультет журналистики Уральского университета, работал в радиоредакции Эвенкийского национального округа, в Кемеровской молодежной газете. Сейчас — редактор Барнаульской студии телевидения.

В альманахе публикуется впервые.



Валерий ИЗВЕКОВ

ЖУРАВЛИНОЕ ЛЕТО

РАССКАЗ

Мать звала долго и настойчиво.

— Валя! Валя!

Валька сидел на чердаке с Томкой-третьеклассницей и составлял план похода в Марьину Балку. Даже по скромным расчетам на каждого путешественника приходилось чуть не по пудовому рюкзаку. Томка была реалисткой и противницей излишеств.

— Валь, давай котелок выбросим, а брикеты каши положим и кубики какао.

— Придумаешь! — ворчал брат. — В чем варить-то?

— А можно не варить. Так съедим.

— Не-е, без котелка нельзя.

Мать все звала. Валька поднялся и подошел к слуховому окну. Грубовато отозвался:

— Ну, чего тебе?

— Иди сюда, сынок. Мы на болоте журавлей видели.

Отец курил на скамейке у палисадника. Для Вальки он был не то чтобы авторитетом, но, во всяком случае, представлялся основательнее матери.

— Журавли? Рядом с городом? Может, какая другая птица... — недоверчиво сказал Валька.

— Да нет, вправду — журавли. Я их дня три назад заметил, — подтвердил отец. — Должно, гнездовать будут. Ходят, вроде усталые.

* * *

Федор Матвеевич Щербаков при всех жизненных передрыгах был человеком добрым и чутким. Его инвалидский «Запорожец» часто можно было увидеть на дорогах области. К нему кто-то приходил, просил подвезти до областного центра — это километров двести — он с охотой соглашался, будто поездка приносила ему какие-то блага. Просто он любил ездить, смотреть из машины на бегущее шоссе и думать о своем.

А когда благодарные люди совали ему тройки и пятерки — за труды — обижался:

— Такого уговора не было. Ты, Ки-

рильч, лучше талонов на бензин купи, на одну заправку.

Иные откровенно злоупотребляли отцовской уступчивостью, открыто издевались над его непрактичностью.

Его это обижало, и мать говорила отцу:

— Ты, Федя, больше их не бери. А вот Александра Кирилловича можно — он человек уважительный.

Нередко и она вместе с пассажирами и отцом уезжала, когда у нее накапливались отгулы. А отгулы копились, поскольку когда бы мать ни попросили задержаться или поработать в воскресенье, она соглашалась. Швейная фабрика, где она трудилась, часто штурмовала месячный план, так что в начале следующего месяца мать непременно имела один-два отгула.

Возвращались они затемно с кучей всяких покупок, и Клавдия Алексеевна подолгу примеряла обновки на ребятнишек, шумно восторгалась ими и негодовала на продавщицу, упаковавшую ботинки в мятую коробку. Но больше всего она рассказывала смущенным и радостным ребятам о том, что интересного видела.

— Помнишь, Валя, мы в зоопарке были. Так там, где был волвер с верблюдом, сейчас бассейн с крокодилом. Лежит он, как камень, только глаз открывается. А дерево какое интересное растет около одной школы. Мы с отцом останавливались, спрашивали. Говорят, берлинский тополь. — И так до тех пор, пока Валька не начинала откровенно зевать, а Томка засыпала.

Сын был в оппозиции к родителям. Как-то не так они жили, не как все. Знакомые пацаны по простоте душевной выбалтывали разговоры взрослых о семье Щербаковых. Отца соседи называли «Дон-Кихотом на «Запорожье», а мать — Санчо Пансой.

Однажды Валька не выдержал.

— Мне хоть на улице не показывайся, — кричал он. — Отгородились ото всех. Живете своими птичками да веточками. У других куры, коровы. А у нас даже овечки нет.

— А что, мать, он верно говорит, — сказал отец. — Давай купим кого-нибудь, чтобы хоть за молоком в магазин не бегать.

С тех пор поселилась у них норовистая коза Аркадий, названная так в честь

деда Аркадия, не давшего отцу ведро извести. Не коза, а черт. Бодливая. Ест отцовы сигареты, а в поле, кроме цветков, ничего не берет.

В первый раз отец усмешливо спросил:

— Кто одеколон в стакан наливал?

— Во-во, я тоже, Федя, думаю, что это так пахнет. Как в парикмахерской.

Валька засмеялся и просветительским тоном сказал:

— Она же цветки ест, вот и получается молоко с цветочным одеколоном. Духи же из цветочных экстрактов делают.

* * *

Новость, конечно, была ошеломляющей. Еще бы — журавли почти в городе.

— Ты, сынок, смотри, шибко-то не рассказывай. А то вдруг какой глаз недобрый приметит... — сказал отец и обернулся к матери. — Иди, мать, встречай свою парфюмерную фабрику.

Из-за палисадника дома напротив вывернула Аркашка. Она на ходу схватила губами цветок, высунувшийся из за палисадничной штакетины.

— Аркашка, — крикнула мать, на что коза вертанула ушами, мякнула что-то про себя, и Валька увидел, как мгновенно расширились ее зрачки, превратившись из узких щелочек в большие черные круги. Это значит, ее заинтересовал окрик, и она рассчитывает на что-то лакомое.

Подбежала Томка.

— Валь, пошли к журавлям.

Но брат был занят решением любопытного вопроса. Он думал, что в общем-то ничем не отличается от родителей, похож на них в этой странной любви к городской окраине и бору, подступившему к избам, ко всем этим веточкам и птичкам, за привязанность к которым чуть было не обидел родителей, к веселой и шумной малышне. Кто из его сверстников возится с мелюзгой? Да никто. Некоторые, вон, Постников, например, уже и с девчонками ходят. А тут мелкоту развлекаешь. А что! С ней тоже интересно. Разве не приятно, когда пацан смотрит тебе в рот, ждет объяснения чему-то, а ты его просвещаешь?

— Послезавтра утром — в поход, — сказал он Томке после раздумий. — Иди, всех предупреди, чтобы готовы были.

— На болото хочу, — заканючила Томка.

— Ладно, потом сходим, — согласился он, и Томка бросилась вприпрыжку, напевая что-то, отдаленно похожее на «Катюшу».

Он подождал, пока сестра скрылась за палисадником углового дома.

— Пап, я — быстро.

— Ладно, беги.

Тут километров пять — двадцать минут бега.

* * *

Нынче Валька перешел в девятый класс, но почему-то не повзрослел. Девчонки с прическами «конский хвостик» и дешевыми перстеньками на тонких пальцах не принимали его всерьез. Впрочем, он в этом и не нуждался. Ему нравилась молчаливая и грустная Люба Бобылева. Да и она отличала его. Но дружбы у них все не выходило. Она не могла сказать, потому что стеснялась, а он — поскольку боялся, что в классе узнают о его истинных друзьях-малышине. Они несколько раз обменялись на скучном уроке записками, но дело не пошло дальше вопросов: «Щербаков, а ты читал «Замок Бруды»? И: «Бобылева, у меня для тебя есть гэдэровская марка. Если хочешь, завтра принесу».

Когда в классе некоторых ребят принимали в комсомол, Вальку даже не упомянули, хотя пятнадцать лет ему исполнилось еще в январе. Классная руководительница в учительской объяснила это так:

— Мальчик неплохой, хорошо учится. Только никакой общественной активности. Убогий какой-то. Да у них и семья странная. В девятом классе примем.

Завуч даже очки выронил от такой характеристики.

— Тамара Гавриловна, это и все, что вы знаете о нем? Не густо, голубушка, не густо. А мне ваш Щербаков нравится. Он, кажется, паренек с подтекстом, сразу не раскусишь. Но с первого раза видно, мальчик очень впечатлительный, покладистый и, по-моему, он по-настоящему увлечен вашим предметом. Извините, педагогу непросто видеть этого.

После разговора с завучем биологичка попыталась наладить контакт с Щер-

баковым, но тот лишь, как ей показалось, смотрел на нее с обидным укором и молчал.

Мать хотела перевести сына в другую школу, но отец запротестовал:

— Ничего, сын, учись там. В комсомол примут, но и ты не будь тунеи. Не замыкайся.

Томка училась в другой школе. Как-то привела подружек, показала им акварельные пейзажи Вальки. Слух о его художественных способностях дошел до Тамары Гавриловны.

— Что же ты, Щербаков, не сказал, что рисовать умеешь? Мы бы тебя в стенгазету...

— Меня никто не спрашивал. А уроков рисования уже нет.

— О, да ты дерзкий! Ну-ну...

* * *

На полпути ему встретился двоюродный брат Колька, шестиклассник. Он прогуливал в бору свою собаку, типичную дворнягу с непонятным именем — Чигра — и поддельными документами ирландского сеттера.

— Валька, ты куда?

— Журавли там, на болоте, — влопыхах бросил Валька.

— Трепи-ись. Лягва там и тритоны. Журавли-и. Заполешный. Откуда они здесь?

— Иди ты... со своей собакой.

— Правильно дядя Гена Ярцев говорил, что вся семья у вас инфантильная. Ха-ха!

Валька не знал значения этого слова, но, на всякий случай дав Кольке увесистый подзатыльник, помчался дальше.

Кочковатый берег болотца выглядел неуютно. Квакали лягушки, шелестел молодой камыш. Ну и местечко журавли выбрали! Черт те что! Да где же они?

Какой-то странный звук остановил Вальку. То ли под ногами хлюпнула болотная жижа, то ли в бору кто-то ударил вскользь по дуластому стволу дерева. Но звук шел сверху, и Валька подумал, а скорее, понял, что это — журавли. На залепленное солнцем болото падали чистые и звонкие звуки.

— Кур-лы, кур-лы...

Звуки показались Вальке удивительными. Значит, это и есть журавли!

Он вдруг заметил, как из-за верхней кромки бора выплыли две птицы и зву-

ки стали явственной. Валька знал лишь, что есть такая птица — журавль, но никогда не видел ее, даже в школьном биологическом музее журавлиного чучела не было.

Птицы кружили над болотом. Близко не подлетали, видно, боялись рассекретить свое гнездо. И Вальке не удалось разглядеть их. Он подождал, пока они сядут. Минут через пятнадцать одна из птиц взлетела и долго тревожно кружила прямо над Валькиной головой. И у Вальки на душе тоже стало отчего-то тревожно.

Домой Валька пришел расстроенный. Вечером, не поев, лег спать на устланный березовыми ветками пол. Листья слегка подвяли и в комнате слабо пахло парной баней и переспевшей земляникой.

Утром во дворе его встретила ватага пацанов, которым Томка уже рассказала про журавлей. Ребята смущенно ждали, что скажет их повелитель.

— Если кому расскажете или гнездо разорите... — сказал он и показал кулак. Это произвело сильное впечатление, кто-то даже ойкнул, остальные зашикали на него и стали смотреть на Вальку еще преданней.

— Ну пошли, рыцари природы. Только никому об этом — ни гу-гу. Поняли?

«Рыцари» в запыленных коротких штанишках и отцовских фуражках выглядели воинственно. В потных и грязных ладошках они несли кусочки сахара, хлеба, колбасы, а Томка прихватила из домашней кухни брикет-соевой халвы и несколько вареных в мундире картофелин.

— Валь, давай в поход не пойдем, — предложила она. — А что у нас осталось, будем журавлям носить.

Валька согласно кивнул. Тамара повеселела. Значит, все идет так, как надо. А надумали они вот что — приручить журавлей, осенью забрать по домам, чтобы птицы жили в городе, а не летали за тридевять земель в поисках тепла.

Но журавли отнеслись к приходу мальчишечьей компании с недоверием, хотя и не выказывали страха. Когда ватага приближалась к болотцу, журавли беспокойно взлетали и, покружив недолго, садились, чиркнув крыльями по воде.

Только на третий или четвертый день журавли подпустили ребят довольно близко и взлетели лишь после того, как

Валька, неловко пристроившийся на кочке, поскользнулся и чуть не свалился в болотную хлябь.

Журавли помаленьку привыкли к мальчишкам, но к гостинцам, рассыпанным по кочкам, не притрагивались. Валька решил разузнать у школьной биологички, как и чем можно завоевать доверие у этих осторожных голенастых гигантов. Но учительница уехала в отпуск, и малышня наугад носила червей и лягушек, кашу и соленые огурцы... Складывали свои приношения на кочки и уходили подальше. Журавли и на этот раз остались равнодушными. Однако любопытство взяло верх над осторожностью, и в следующий приход ребят они уже безбоязненно разгуливали вблизи.

— Смотрите! — шепотом сказала Томка, задохнувшись от радости. — Смотрите, к нам идет...

Журавль деловито вышагивал между кочек, выбирая, вероятно, самое вкусное и съедобное и относил к гнезду, где самка уже высидывала птенцов. Теперь он, казалось, ждал прихода ребят, и как только они появлялись, журавль нетерпеливо выжидал, пока они разложат на кочках провизию и отойдут в сторонку, и с коротким курлыканием взлетал и опускался у этих кочек. Настороженность осталась, но вражды не было — птицы поверили в доброту людей.

А вскоре появилось потомство. И ребятам пришлось удвоить рацион.

Они по-прежнему носили птицам лягушек, но поймать их становилось все труднее — добычливые места были обобраны, а оставшиеся земноводные прятались в воду, едва заслышав людские шаги.

Как-то ребята шли с очередным приношением.

— Валя, а они на парах, — грустно сказал Женя, маленький деликатный мальчик, в очках с перламутровой оправой.

Журавлиный выводок гулял на черной, прибитой дождями пашне. Сиреневое марево стлалось над землей и оттого казалось, что журавли плавают в прозрачном пруду. Но вот журавлиха взмахнула крыльями и медленно стала набирать высоту, громко курлыча, наверное, приглашая за собой молодых. Молодые медлили, не решались никак оторваться от земли. Наконец, один из

них коротко курлыкнул в ответ и побежал длинными прыжками, взмахивая кургузыми крыльями.

— Это они летать учатся, — сказала Томка.

Старая журавушка несколько раз опускалась и снова взлетала с призывным криком. И ребята видели, как с журавлиного аэродрома все увереннее взмывали молодые птицы, низко плыли над землей, над лесом. И было отчего-то радостно и тревожно.

...Однажды, придя к болотцу, ребята не обнаружили птиц. Не было их и на пашне.

— Все, — сказала погрустневшая Томка, — кончилось журавлиное лето.

И вдруг, странный, щемящий звук донесся сверху. И ребята увидели журавлей высоко-высоко над головой. В ясной сентябрьской синеве кружили они, и, когда касались крыльями солнечных лучей, казалось, что раздавался мелодичный звон. Это, наверное, легкий прозрачный воздух искажал далекое курлыкание журавлей. Они летели медленно и широко, будто хотели обнять осеннее небо. Ребята стояли и смотрели им вслед. Легкий ветер донес прощальные крики птиц, летевших над самой кромкой бора. Вдруг Томка закричала:

— Валя, падает! Посмотри...

Валька и сам уже видел, как один журавль, словно ударившись о какой-то невидимый барьер, несуразно взмахивая крыльями, падал вниз. Когда ребята добежали до леса, навстречу им вышли двое мужчин. За плечами у них торчали стволы ружей. А в рюкзаке одного из них лежал убитый журавль — птица была крупная и не умещалась, из-под клапана торчала длинная, неловко подвернутая нога. На ней поблескивало кольцо с немецкой надписью: «Премнитц, орнитологибецирк, 1953».

Томка ревела до тех пор, пока мать не дала ей валерьянки.

Пришел с работы отец и отправил Вальку за припозднившейся козой.

Был чистый и холодный закат. Направляясь к бору, Валька свернул к болоту. Здесь все было так же, как вчера и позавчера. Вот бывшее гнездо журавлей. А они уже, наверное, далеко. Оранжевый закатный луч, проклюнувшись сквозь заросли тростника, причудливо высветил одну из кочек. Пожухлая зелень на ней расплылась в каком-то скалочном свете. Когда Валька подошел ближе, видение уже исчезло. На голом черном «столе» кочки валялись засохшие корочки хлеба и почерневшие кусочки соевой халвы.

Родился в деревне Большой Иркутской области. В километре от пятистенника отца, сельского учителя Александра Васильевича Слободчикова — густой ельник. С него и началось первое знакомство с тайгой и ее обитателями.

Не прервалось оно и в те годы, когда после окончания средней школы Валерий учился на историческом факультете Иркутского педагогического института.

Сейчас ему 25 лет. Живет в Барнауле, работает заместителем ответсекретаря в молодежной газете.



Валерий СЛОБОДЧИКОВ

АЗ, БУКИ, ВЕДИ...

Я взял телеграмму. На дерматине осталось светлое пятно. Опоздал я проститься с дедом. Двадцать дней командировки в Якутию — срок немалый. В комнату без меня входила только соседка Юлия Петровна, она и принесла телеграмму.

Все эти двадцать дней по области гуляли пыльные бури. Провел пальцем по столу черту. Над ней написал: «Уезжаю».

Отпустили меня на три дня. На большее шеф не согласился.

Редакция, магазины, квартира, вокзал — вот и весь маршрут, все сборы.

Уже в купе пришла мысль, что я все реже и реже открываю букварь детства, что все чаще эти короткие встречи проходят под знаком бед и потерь.

* * *

Солнце золотило сосняк на Мельничном взвозе, по реке текло рябое серебро. Никого я не предупредил, что еду, и никто меня в деревне не ждет.

Подняла голову женщина, платочек в горошек. Посмотрела, не узнала, побрела в воду замачивать кадку.

Вот она — дедова память. Березовые кадки с крепким запахом рассола, коромысла, выгнутые, как птицы в полете. По утрам улыбаются солнцу узорчатые наличники. Тоже — дедова память.

— Леньша приехал, — всплеснула руками тетка Матрена. — А я крапивки пошла нарезать поросям.

— Подожду, тетя. Идите, — и я протянул Матрене серп, выпавший из ее рук.

На завалинке черной баньки я ждал, пока она наполнит корзину.

— А дедку схоронили. Хорошо умер, без мук, сердешный, — рассказывала тетка Матрена уже в избе. — Завтрева сходите с Сانشей. Ты подь пока в спаленку, приляг, а я в магазин сбегая.

Как молодая, скользнула Матрена с крыльца, и тихо стало в старом доме.

Вечером стол ломился от разносоля. Пришли только самые близкие. Остальных не звали — некуда. Всеи родни не счесть, полдеревни под фамилией Большаковых ходят. Егор, как старший в семье, во главе стола сел. Меня по правую руку посадил, а дальше Александр, Прохорыч, Витька, друг детства, и еще человек пять.

А тетка Матрена, как челнок, от стола в кухню и обратно.

Под водочку да под соленую рыбку забродила по столу беседа. Мужики завели споры об охоте, о колхозном хозяйстве.

Уставший за день Егор хватил лишнего, и упала на узловатые руки тяжелая голова. Тетка Матрена запричитала:

— На тебе, хозяин. Гости за стол, а он под стол.

Засуетились женщины, потянули мужей по домам, выручая хозяйку, зашумели:

— Ой, батюшки! Засиделись, а завтра на работу раненько.

С Прохорычем перетасили Егора на кровать. Что-то заклокотало у него в горле, я испуганно закричал, боясь, что Егор замарает чистые половики. На шум прибежала тетка Матрена, всполошилась:

— Дьявол, ты этакий. Обожрался, кобель. Саньша, тащи топор.

Я недоуменно уставился на нее. А Санька уже бежал с топором. Взлохмаченную Егорову голову уложил на прохладную сталь. И то ли перестало Егора крутить, то ли Матренино средство сработало, но задышал человек легко и спокойно.

— Кажинный раз так. Еще бабка моя научила, — похвасталась тетка Матрена.

Выпросив у хозяйки стопку на посошок и выкурив сигарку, ушел Прохорыч. А меня определили в спальню. Упав в жаркую постель, я впервые за много месяцев уснул быстро.

Наутро мы с Александром пошли на кладбище. Плыли по реке, а над ней висели лоскутные клоки тумана.

— Туман к земле — день ведренный, — улыбнулся Александр.

«Вот она, деревенская мудрость, — подумал я. — Александр почти мой ровесник. А не сказать мне так. Хотя и родился в деревне, но сейчас я для нее будто пасынок».

Плыли из заречья мужики, молча, кивком головы здоровались. А ниже река бурлила, через брод гнали колхозное стадо на заливные луга.

У стайки зареченских лодок примкнули свою к черному от воды и времени осокорю. Поднялись по заросшему беленой и полынью взвозу, а там через конюшный двор вышли в поле. Кладбище стояло на песчаном взгорочке, весе-

лое от редкого молодого сосняка. Дорога к нему вилась через желтеющий уже ячмень.

— Весело живут покойнички, — не к месту пошутил Саша.

Чем ближе к кладбищу, тем медленней мы шли. Внук идет к деду на поклон. Как это оно будет? Откуда знать Александру, что далек я в мыслях от смерти деда, что вижу его таким, каким оставил, уезжая два года назад.

Рубаха белая пузырем на спине. Сошлись в линеечку густые, сросшиеся брови... Да, вот и оборвалось последнее звено, связывающее меня с детством.

— Знатно пожил Терентьич. Память оставил. Царство ему небесное, — не ради веры, ради привычки сказал Александр последнюю фразу.

— Аз, буки, ведеи... — прошептал я и положил на холмик охапку цветов, мокрых от росы.

«Аз, буки, ведеи». То был первый урок грамоты. И было мне шесть лет.

Дед сгребал с верстака стружку и раскладывал самодельную, сколоченную из тоненьких палочек деревянную азбуку. Почернела от времени азбука. Руки деда осторожненько перебирали буквы. Руки были землистые, с узлами взбухших вен.

«Это корни дерева мудрости», — догадался я много позже.

Нет моего старика. И больше не будет. Одни люди уходят, оставшиеся берегут память.

Аз, буки, ведеи... Мой дед открыл для меня еще одну азбуку — азбуку леса и жизни. Сделал он это непроизвольно, не сразу и не навязчиво.

Майский день. Уставшие от праздничной суеты, мы идем на охоту. Лес, умытый утренним дождем, как вылизанный коровой теленок — свежий, обновленный, так и хочется потрогать рукой каждый ствол, каждую ветку. На западе, у самой сопки, лебяжьим пером упал клочок тумана.

Колодина, глухая от дождевой воды, парит под косыми лучами утреннего солнца. Мы садимся на ее влажную, холодную спину, и дед достает манок.

— Глупый все-таки наш брат мужик. Позовет баба, и он готов бежать за ней, сломя голову. А ну-ка, рябчишки-мужикишки.

Как тонко все-таки у него природа вписывается в человеческую жизнь...

А из чащи длинной трелью уже откликнулся рябчик.

Строг дед в соблюдении охотничьих порядков. Поводил за нос одурманенных страстью женихов, а стрелять не стал и мне не позволил. Охота запрещена.

Назад идем молча. Дед тщательно пережевывает какую-то свою думку.

— Чуешь, парень, сколько тайги гибнет, — наконец, не выдерживает он. — А для меня срубить сосну зазря, что человека порешить. Пустят Усть-Илимскую — и поплывем. Неуж жалко? А я ж здесь сызмальства... Опять же, старики мои здесь лежат. Строят, строят. Куда? А может, и надо? В ранешнюю-то пору под лучину «Лучинушку» пели, а нынче электричества пропасть изводят.

«Ага, значит, не только лесом единым ты живешь, мой медвежатник, — подумал я тогда. — Задело тебя. — Хочешь не хочешь, а с кровью рвешь таежный мох».

— Ну, ты слухай, слухай. Мне вроде б руку отрезали да сызнова пришили, а, как ни шей, срастется — рубцы останутся. Пересади пихту из роспади в сухой бор — зачахнет. Вот и я, стало быть, как та пихта. Чего молчишь? Язык к небу прилип? Я ж не супротив, пущай строят, только лес-то живой, к нему, как к человеку, подход нужон.

Теперь я знаю, что с болью, но вырвал ты свои корни. И в домоседы не ушел. Как заноза, сидела в тебе твоя охотничья, таежная гордость, которая, повернулся не так, знать дает.

Вчера рассказывал Прохорыч, что год назад пришел ты к директору леспромхоза и выпросил справку, с которой обрел власть большую, чем все лесники в округе. А через неделю под ружьем привел в милицию Кешку Черных, что не пожалел лосиху с недельным теленком. Тебя прозвали Лешим. Ты не обижался. Главное, деляны стали чисты — вальщики работали в лесу, как у себя в огороде, с оглядкой на будущее...

Спасибо тебе, мой старик.

Иркутск—Барнаул

* * *

На следующий день я уезжал. Вез меня на вокзал колхозный шофер Коля. Провожали тетка Матрена с Александром. Тот, навеселе с утра, небритый, тыкался щетиной мне в лицо.

— Ты приезжай. Плюнь на дела и по осени недели на три. Побелкуем. Ты ж в деда, удачлив должен быть.

Я согласно кивал головой. Хорошо знаю, что не приеду. Город караулит человека тысячами дел.

Подошла тетка Матрена, распеловала в обе щеки, протянула сверточек.

— А это тебе от деда. Памятка. Мастерскую колхоз забрал — дай бог, чтоб хозяин ей добрый был. Только букочки и остались. Терентыч перед смертью тебе велел передать. Ты ученостью-то себя не перетруждай. Вон, говорят, Борьша Лыков через то облысел. Терентыч и то всегда говаривал: «Леньке не силой брать, а умом». Фу, не сглазь, стылая! — она истоиво перекрестилась.

Резко дернулся газик. Пыль струйками брызнула из-под колес. И вмиг все померкло, закружилось: Александр, тетка Матрена, ферма, машинный двор и еще что-то, совсем неразличимое. До боли в глазах вглядывался я в убегающую дорогу, а руки судорожно сжимали сверточек, перевязанный синенькой тряпочкой. Аз, буки, веде... Деревянная азбука.

Все осталось позади. Это позади — давнее и памятное. И ясно было, что больше я сожалею не о том, что сегодня перенесется в запасники памяти. Просто я еще раз прощаюсь с детством. Это было уже со мной и повторится еще не раз. Нужен только этот маленький вокзал, где встречаются близкие, знакомые. Чужой человек здесь такая же редкость, как в моем городе лошадь. Разве только лишь любопытства к нему меньше...

Мимолетны встречи с детством. Слово увидел из трамвая знакомое лицо, а на ходу не выскочишь и остановка далеко.



Геннадий Жиров родился на Алтае в селе Налобиха Косихинского района. Семнадцати лет уехал из дому. Был строителем, металлургом, химиком, шахтером, слесарем. Печатался в местных газетах. В альманахе выступает впервые.

Геннадий ЖИРОВ

МАТЕРИ

Друг на стол гостинцы горкой сложит
И начнет про пашню, про жнивье...
Я скажу, что из деревни тоже,
Но отвык с годами от нее.
Но зачем мне станут сниться чаще
Дом под толем, грядки за межей!
И во мне мой деревенский пращур
Отзовется вязко и свежо.
Буду сутки поездом в дороге,
Нос вдавив в оконное стекло.
Выйду из вагона — и под ноги
Бросится алтайское село.
Занавеска вздернется в окошке.
Я войду — племянник за штаны,
Слезы мать сотрет со щек ладошкой,
Тихо скажет: «Снова без жены».
И потонет дом в семейном гаме,
Будут разговоры и вино.
Захмелевший, я — ни слова маме —
Убегу с сестренками в кино.

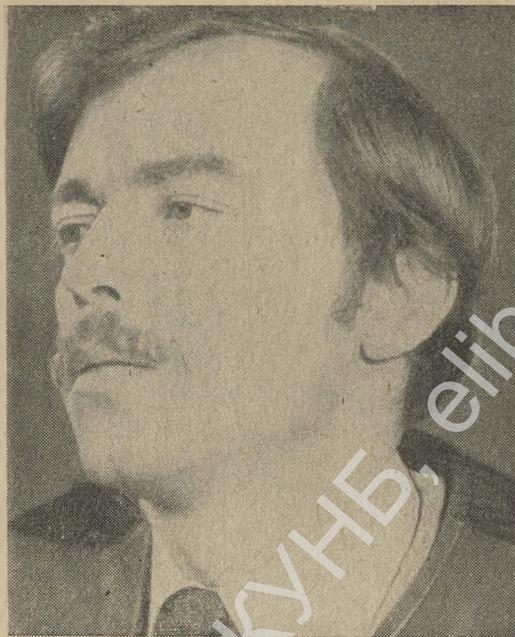
А наутро встану спозаранок,
Через прясло гляну на увал:
Рощица — березовый подранок!
Деревенский летний карнавал.
Звездочка серебряным копытцем,
Край деревни маково цветаст.
Мать плеснет мне на руки водицы,
Полотенце легкое подаст,
Обласкает материнским взглядом,
Скажет:

«Рано начало светать,
Как-то, сын, домой вертаться надо —
Видишь —

здесь такая благодать».
И, боясь встречаться с нею взглядом,
Я отвечу: «Мама, не зови.
Лучше ты прикинь, пока я рядом,
Что тебе в хозяйстве подновить!»
Свежим солнцем утро обозначив,
Луч прильнет к бревенчатой стене...
Может, у кого-нибудь иначе
С матерью вст так — наедине!

Николай Байбуза родился в Барнауле. Работал бетонщиком, художником в театре юного зрителя, литсотрудником районной газеты.

Сейчас методист по изобразительному искусству в краевом Доме народного творчества.



Николай БАЙБУЗА

ПИСЬМО

Все.
По крышам
отбегался дождик...
В кадках пусто.
Я дома один.
Позачах по логам
подорожник,
все цветы пережил
георгин.
Вероятно,
на этой неделе
журавлям предстоит
перелет —
холода по ночам
осмелели,
утром в заводях
тоненький лед.
Всю неделю
бродил по аллее,
оставляя стихи
на «потом».
Но сегодня заметил
попутно —

у скворешни
лазейка заткнута
красным-красным
кленовым листом.
Я пишу,
что грустится не очень,
что метели мои далеки,
что за лесом
оставила осень
мне на счастье
подкову реки...

АВГУСТ

Скупым на солнце
был июль...
А кто укажет,
кто осудит!
Июль за скупость
не виню,
надеюсь,
август щедрым будет.

И в поле будет
горьким дым,
и рокот трактора
надсадным,
и колос будет
налитым,
и светлым лес,
и песня складной.
И на исходе
ясных дней,
когда притихнут
лес и поле,
я небо родины моей
вдохну в себя
всей грудью, вволю.
Когда
все листья у осин
ветра сорвут,
и Обь остынет,
и с криком
журавлиный клин
ударит в сердце мне
навывает.



Геннадию Давыдову 22 года. Родился он на Сахалине. Окончил среднюю школу. Сейчас живет в Барнауле. Работает на шинном заводе.

Публикуется впервые.

Геннадий ДАВЫДОВ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

МАРКУША

Костя читал какую-то скучную книжку, временами задремывал, потом вскидывался и ещё прочитывал несколько страниц... Его сосед по комнате, натянув на голову байковое одеяло, давно уже спал, со свистом похрапывая.

— Чайком, что ли, побаловаться, — подумал вслух Костя и потянулся за висевшим на спинке кровати трико. Надел стоптанные тапочки. Позвякивая закоптевшим чайником, поеживаясь от холода, шел по длинному коридору. Шаги гулко отдавались в сонной тишине общежития.

— Ого, еще один страдалец, — Костя задержался на пороге кухни. Мужчина, суетившийся около газовой плиты, оглянулся, гостеприимно помахал рукой.

— Проходите, молодой человек, проходите.

Вода, сердито булькая, тугой струей ударила в дно чайника.

— Что, молодой человек, бессонница мучает?

Костя отвернулся, встретившись с насмешливыми глазами мужчины.

— Ну, в восемнадцать лет — это понятно. Неразделенная любовь.

— Почему в восемнадцать? — усмеялся Костя. — Мне девятнадцать.

— А-а... Тогда другое дело.

— Котлеты у вас подгорели.

— Это бифштекс, молодой человек. —

Мужчина суетливо стал переворачивать задымившиеся бифштексы. — Вот где нужна женская рука. А? Как думаешь?

— Вы всегда такой разговорчивый?

Костя поднес спичку к конфорке, поставил чайник на ровное голубое пламя.

— О, нет, молодой человек, не прими меня за болтуна. Эта ночь для меня — ночь прощания, — покосился на Костю. — Да, прощания с Сахалином, с этой кухней. Послушай, молодой человек, сделай мне одолжение... А?

— Каким образом?

— Оставь чайник, пойдем ко мне, хлебом зелененькой на прощанье... Да нет, ты не думай чего-нибудь, я ведь от души. Одиночество — хуже всего. А ты все равно не спишь. А? — Он завернул вентиль и тронул Костю за локоть. — Ну, прошу тебя.

И Костя, сам того не желая, двинулся за мужчиной. Тот нес в вытянутых руках сковородку со шкварчащими бифштексами, толкнул ногой дверь — и они вошли в комнату, которая, пожалуй, только чистотой отличалась от Костиной.

Такие же две узкие койки около стен. Тумбочка в углу, стол у окна, два скрипучих стула. Стены оклеены афишами. (Костя в своей понавешал репродукции из «Огонька»).

Мужчина поставил сковородку, жестом пригласил Костю садиться. Представился:

— Маркушей меня зовут. А тебя? Это ничего, что я с тобой на ты?

— Ничего. Вы ведь, кажется, в клубе работаете?

— Работал. Завтра улетаю на материк. Ты подвигайся поближе к столу. — Он нагнулся над тумбочкой. — Тут есть кое-какие запасы. Негусто, правда. А у меня, если сказать от души, и вся-то жизнь негустая получилась. Налегке, так сказать, прошел. — Он помолчал, разливая спирт в стаканы. — Знаешь, есть такие маленькие вокзальчики, со сквериками, из которых уезжаешь с радостью птенца, мечтающего вырасти в орла. А возвращаешься ошипанным петушком... — Дунул в стакан, подмигнул Косте. — А там, на той станции, тебя ждут... И не дожждутся. Ну, давай за то... — Он подумал. — За то, чтобы не последний раз... — не нашел ничего более подходящего.

Смешной. Костя рассеянно поглядывает на морщинистое, с резкими складками около рта лицо Маркуши. Все у него шуточки, прибауточки. В концерте выступал на седьмое ноября: «Музыка моя, слова народные».

Посидели молча, пожевали бифштеке.

— Надо уважать старость, чтобы люди не боялись стареть, — сказал Маркуша. — Чьи слова?

Костя пожимает плечами.

— Были чьи-то, стали моими, а теперь твоими будут. А ты чего это не до дна? Ну, брат, этак не годится. Заговорил тебя совсем.

Костя рывком опрокинул и задохнулся от сухого огня в горле. Судорожно глотая воздух, потянулся за графином. Передернулся. Вытер слезинки. Маркуша озорно, по-мальчишески подмигнул:

— Спиртик. Ничего, будь мужчиной. На севере живешь, не в Крыму.

Маркуша налил себе еще. «Ладно, тебе через одну...» Выпил не спеша. Капли падали на розовую майку, оставляя на ней темные пятна. Запил водой. Твердые губы дрогнули в усмешке.

— Эх, эта неразделенная любовь! — вздохнул протяжно. — А чего вы не по-

делили... с этой рыженькой-то? Хорошая вроде девка. С виду. Чего так смотришь? Думаешь: откуда я знаю. Ха, Маркуша все знает. Да и поселок маленький. Все страстишки людские на виду. — Постучал вилок по сковородке. — Закусывай. Бифштекс, по-моему, вполне съедобный. А ты не горюй, все образуется. Это ведь цветочки только... Ага. А у меня вот уже ягодки осыпались... Все, брат. Думаешь, я на материк отчего еду? От неприкаянности. — Маркуша повертел вилок, положил на стол. — А неприкаянность отчего? Мой брат старшой в Магадане шоферил. Колесо спустило. Стал на запаску ставить, а домкрат сорвался и придавил руку. И — крышка. А человек был не мне чета. И семья, и дети не хуже других. Работу любил. Вот ему бы и жить. А вышло все не как надо... Это почему? Дак вот я и говорю: неприкаянность моя оттого, что любил по жизни налегке ходить, порожняком... Вот и теперь — порожняком. Не скажу, любовь и у меня была... А может, привычка. Сынишка был, думал, вырастет — человеком станет. Не вышло. Какая-то хворь привязалась — и все. Крышка. Два года назад супруга развод потребовала. Нас, говорит, теперь ничто не связывает. Не могу простить за сына. Не уберегла. Да, — помял пальцами папирску. — Я тогда гастролировал. Эстрада. Запах сцены. Женщины. А таланту — ни гроша. Сейчас-то я это вижу. Одно упрямство. Хочу — и все. Да мало ли что человек может хотеть. Это ж так я захочу фараоном стать. Ну, это я к примеру — фараоном-то. Вот оно как, брат. — Он потянулся через стол к Косте, локтем смахнул стакан. — К счастью.

Костю пеленает спокойный хрипловатый голос. Раздумчивые слова о том, что человек остается в других, что Костя счастлив со своей бессонницей, неразделенной любовью. И чем раньше он это поймет, тем лучше для него. И каждый человек и ученик и учитель чей-нибудь — одновременно.

— Только, ежели от души сказать, разные бывают учителя-то — нужные и ненужные. И это надо намотать на ус, чтобы потом не оказаться порожняком. Уяснил? Ну, давай на посошок.

Костя помотал головой. Точка. Хватит. Завтра работать.

— Ну хватит, так хватит, — грустно соглашается Маркуша и себе тоже не

наливает. — Давай посидим так. Да, брат, деньков через двадцать я буду уже на материке. Ты запомнишь Маркушу? — вдруг спрашивает.

— Запомню, — твердо говорит Костя.

— А зачем? Зачем тебе запомнить-то меня? Ну, скажи, зачем? Что ты такое можешь вспомнить? Нет, ты сделай милость, выкинь из памяти — и крышка.

Костя упрямо наклонил голову: запомню.

Маркуша удивился:

— Да? Во-он ты какой! Ну, спасибо тогда. Спасибо. Я тоже тебя не забуду. Прощай, брат.

Утром Маркуша уехал.

...С тех пор прошло десять лет. А может быть, сто.

МЕДВЕДИ

В бригаду Южина для переброски прилетел вертолет. Борис, рабочий, быстро загрузил бумер, палатку, спальные мешки, прибор, сумку с продуктами. Бортмеханик захлопнул овальную дверцу. Нехотя провернулись лопасти. Замелькали, образуя блестящий круг. Гул подхватила тайга. С хохотом унесла в даль. Покачиваясь, мелко дрожа, вертолет набирал высоту. Порывистый ветер гнал листья, прижимал кусты. Внизу проплывали рыжеватые сопки, черные ленты речушек, щетинистые пяточки леса. Бортмеханик что-то крикнул, потянулся за карабином. Торопливо передернул затвор и распахнул дверцу.

Борис глянул вниз и увидел двух медведей — вернее медведя и медвежонок, испуганно убежавших от вертолета. Их тела, с желтыми подпалинами на спинах, пружинисто сжимались и расжимались при беге. Бортмеханик прицелился. Гулко шелкнул выстрел. Медвежонок сел, обиженно взмахивая передними лапами. Борис схватил бортмеханика за руку. «Вы что, сдурели?»

— Отцепись, — его дыхание обожгло Борькино лицо. — Ухватился. Зверюшек пожалел. — Он повернулся к технику. — Юрий, уйми своего работничка. — Южин

с усмешкой взял Борьку за руку: — Не дури, твой заработок, между прочим, от вертолетчиков зависит. — Слова сливаются со звуком выстрела. Вертолет сделал круг. Его тень накрыла медведицу. Выстрел. Медведица встала на дыбы, оскалившись. И вдруг осела, подмяв сочную осоку.

Приземлились. Вертолетчики, возбужденно переговариваясь, стали погрошить зверей. Вытащили желчь. Выбили зубы на сувениры. Бортмеханик подошел к сидящему в стороне Борьке. «Ну, что губы надул? — протянул желтоватый зуб. — Возьми на память. Вернешься домой, хвастаться будешь. Медведя, мол, уложил. Все девки твои будут».

— Мне всех не надо, — буркнул Борька. Он стоял в стороне, безучастно глядя на горы. — А за такую охоту...

— Да ладно тебе. Ну, чего ты в самом деле? Что случилось-то, тайга стогрела, что ли? Двумя медведями меньше стало... Мы ж охотники.

— Сволочи вы, не охотники, — Борька резко повернулся и пошел к вертолету. На блестящем пупыристом покрытии лужицы крови, серые клочья шерсти. Наследили. Вертолет загадили. Золотистые гильзы валяются под ногами. Борька хватает свой вещмешок, вскидывает за спину и решительно идет прочь.

— Эй, — кричит обеспокоенный Южин, — ты куда?

— Не полечу с вами, — говорит Борька. — Противно.

Южин догоняет его.

— Ты это самое... не дури.

— Не полечу, — твердо стоит на своем Борька.

Южин мнет папироску, закуривает.

— Чокнулся парень.

— Пусть чокнулся. Не полечу.

— Ну, ладно, — решается на что-то Южин, — черт с тобой. Выкидывай бумер. Набросим палаткой и здесь оставим. Остолоп упрямый. А на пункт придется ножками топать. Через тайгу, через горы.

Посмотрел внимательно Борьке в глаза: не передумал? Нет, по глазам видно — и не передумает.

Низко над горами плыли синие предгрозовые облака.



Юрию Крылову 26 лет. Родился и вырос на Алтае. В 1965 году окончил одиннадцатилетку в Барнауле. В 1969 году — культурно-просветительное училище. Сейчас работает учителем пения.

Юрий КРЫЛОВ

МЕЛЬНИЦА

Стояла она на холме, неподалеку от нашего села и исправно служила своему хозяину лет тридцать, а то и сорок. Во всяком случае помольцы окрестных сел обивали ее пороги еще задолго до того, как до уезда докатился слух, что в Питере большевики скинули Николашку. Помещик, владевший мельницей, махнул за границу, а мельница стала служить народу.

В быт постепенно входило новое: открыли клуб, построили школу, а вместо старой мельницы заработала новая — на электрической тяге.

Старую мельницу попросту забыли и только неугомонное ребячье племя прочно обосновалось в зарослях черемухи у подножья холма.

Какой-то шалун отпустил тормоз, и крылья ветряка, поскрипывая, стали вращаться. Ребятики теперь еще охотней играла у ожившей мельницы.

Стояло сухое лето. Посерела и растрескалась земля, пожухли травы, а небо выцвело до белизны.

Дождь пришел неожиданно. Черная туча, выросшая из невзрачного облачка, заняла полнеба. Нестерпимо палившее солнце исчезло в ее пасти. Наступила

вязкая тишина. Налетел ветер, ядреные капли дождя застучали по земле. Крылья мельницы сильно раскрутились. И вдруг раздался треск, грохот и на землю упали обломки. Гроза ушла. Цветная радуга повисла над землей. Защебетали птицы. Напоенная земля дымилась.

Особых бед ливень не причинил, только мельница стояла теперь обескрылев. И никто ее не трогал, не ломал — стояла мельница долгие-долгие годы, и мое детство прошло и чье-то еще детство проходит, стояла, как деревянное надгробие над чьей-то безымянной могилой, как памятник отшумевшим дням...

ДЕСЯТКА

Писали ему «до востребования». Возвращаясь из института, он всегда забегал на почту и радовался, когда миловидная девушка вручала письмо. Когда же слышал от нее что-нибудь вроде «вам еще пишут», мрачнел, и девушка становилась похожей на злую волшебницу, спрятавшую письма куда-то на высокий дуб в железный ящик, ключ от которого вообще неизвестно где.

В тот день он, как всегда, зашел на почту и... получил перевод на целых десять рублей. Он почувствовал себя миллионером. Помчался в общежитие.

— Братцы, сегодня обещаю вам царский ужин!

А когда посыпались вопросы: перевод? От кого? Сколько? — вспомнил о письме к переводу. Прочитал: ба, да это же дед! Перечитал еще раз, построжел. Дед писал, что седьмого декабря ему исполняется семьдесят пять лет, и он желает внуку прожить жизнь хорошо, стать ученым человеком. А вдобавок — десятка. Он прочитал и помрачнел, грустно сказал: «Ужин отменяется, ребята, деда я забыл поздравить».

Было уже девятое число.

Прошли годы. Стерлись в памяти многие события, их место заняли другие,

но уже много лет на рабочем столе в его кабинете лежит под стеклом дедова десятка.

ТАЙНА

Вчера сгорела моя подруга. Она кружилась над костром в общем хороводе, а потом вдруг полетела в пламя. Вспыхнули крылья и одной ночной бабочкой стало меньше. Зачем? Что ее потянуло в огонь? Какая тайна? И мне тоже захотелось узнать, что там в середине этого бушующего пламени, как это все происходит.

Страх удерживал меня, но желание соприкоснуться с огнем было сильнее. Вчера сгорела моя подруга, — завтра сгорю я. Сгорю, но узнаю.

Геннадий Чепчугов родился в 1935 году в Лениногорске. После окончания училища механизации сельского хозяйства работал трактористом, комбайнером.

Сейчас работает маляром.



Геннадий ЧЕПЧУГОВ



Мне забавное вечно по нраву
И невиданное по нутру.
Подождите, ссучу вот дратву,
Да вот варом ее понатру,

Да такие опорки стажаю,
Да войду в этот звездный дождь,
Да пройдуся не спеша, очищая
Поналипшие звезды с подошв.

Залюбуется Кассиопея,
На горластых прищыкнет псов,
Слезы радости у Водолея
С золотых упадут усов.

И Медведицы снова и снова,
Даже если не попрошу,
Поднесут по ковшу хмельного,
Да штрафного еще по ковшу.

Закружится напевно Лебедь
Надо мной, разорвав звездопад,

Вега Лиру под говор и лепет
На веселый настроит лад.

Я по кругу пройдуся бедово,
Пропою про себя земного,
И пошлю домой телеграмму:
Жив здоров... Не тревожься, мама.



Тучка-летучка,
землю не мучь-ка!
Выдь в небеса,
Горы, леса
ливнем умой.
Вспыхнув грозой,
щедро полей
волны полей.
Пыль уложи,
всех освежи.



Ирина Кириллова закончила 10 классов вечерней школы.

Работает в заводской многотиражке. Печаталась в газете «Молодежь Алтая».



Мне не надо!
За деньги
Тот платок-поскуток.
Раскидухи-сирени
Подари завиток.
Приколю его к платю —
Пусть цветет на груди!
Ты не видишь? Я плачу.
Не принес...

Уходи.



Я — Осока!
Я — Травинка!
Острая, высокая.
Не зови меня
Иринкой —
Называй
Осокою.
Нет,
К ногам твоим
Не лягу.
Изогнусь, но выстою.
Искромсаю
След от шага —
В ряд травинки
Выстрою.

ПАМЯТЬ

Пролетали красные конницы
Вихрем яростным через село.
И держали добрые молодцы
Сабли острые наголо.
Мчались, мчались орлята смелые,
Настигали казачьи полки.
Где там красные! Где там белые!
Только видно: блестят клинки.
И алел закат жарким пламенем,
Отсвет солнца бросал на бой...
С красным пламенем, с красным знаменем
Вы делили и радость и боль.



Ах, кочевья!
Ах степи, степи.
Ширь да гладь
На сто верст кругом.
Ветви ивы качает ветер,
Стелет утро туман — молоком.

И белесым молочным утром
Я гляжу, как поля занавесились
И березки зеленые кудри
Легким кружевом к речке свесились.



Татьяна Кузнецова — студентка Барнаульского строительного техникума.

Печаталась в краевой молодежной газете.
В альманахе выступает впервые.

Выдрин Игорь Петрович. Родился в 1936 году в г. Архангельске. После окончания в 1959 году Ленинградского сельскохозяйственного института работает в Алтайском крае. В настоящее время является преподавателем Алтайского сельскохозяйственного института, кандидат технических наук.



Игорь ВYДРИН

МОЙ КРАЙ

Мне нравится суровый этот край.
Его никем не считанные версты.
И ленточных боров наряд непестрый.
Иди сюда.

Иди,
не выбирай.

Мне нравится суровый этот край.
Его народ, спокойный и надежный.
С парнями этими идти в разведку можно—
Не подведут.

Бери.
Не выбирай.

Мне нравится суровый этот край.
Его никем не считанные версты...
Как глубоко корнями в сердце врос ты,
Не оторвать.

Любовь моя,
Алтай.

СТАРЫМ БОЛЬШЕВИКАМ

Уходят старые большевики...
Еще из первой ленинской когорты.
Последним взмахом высохшей руки,
Мне кажется, зовут они кого-то.

Товарища по огненным годам,
Товарища и друга без расчета.
Но жесткого к себе и к людям там,
Где требует партийная работа.

Уходят старые большевики...
Последние слова уже пропеты...
Вы твердо пронесли — не вырвешь из руки —
Билет партийный с ленинским портретом.

Его и вас и в мыслях не предаю.
Ему и вам назначено бессмертье.
Страну и Партию как он доверил вам,
Вы дело Ленина спокойно нам доверьте.

Эльмира СВИРИДОВА

СТЕПНОЕ

ОЧЕРК

На улице крохотного степного поселка тепло и пустынно. Только Галя с мамой остановились по пути из магазина.

— Что это? — с восторженным изумлением спрашивает Галя. — Валера, — отвечает себе в тихом восторге.

И даже немного страшно — так беззащитно счастлив человек, и невероятно, как просто это счастье: теплый день, замурзанный Валерка на соседском огороде, рядом спасительная калитка родного дома.

— Все, — говорит Галина мама и опускает бессильно большие руки. И как будто даже со стороны смотрит на своих собственных детей. — Вот уж характерные. Сказала пойду, значит, пойду. Оба в папу. «Где папа моя?» — передразнивает она дочку и та доверчиво запрокидывает к ней голову, на круглом лице, как на блюдечке, преподносит круглый ротик, носик и непривычного разреза темные глаза.

— На работе, на работе, не смотри, — отвечает Нина поспешно, — там, — и машет рукой вправо.

Совхоз «Алтайский» — предгорья. Слабые волнистые линии рельефа, колеблющийся туман сквозных рошиц, волнующийся дымок спаленной соломы над полем — чуть беспокойное ожидание исходит от всего. То ли это извечное весеннее томление поля, то ли извечное тревожно-приподнятое ожидание хлеботорба.

За околицей Степного, в той стороне, куда махнула рукой Нина, картина такая же. Томящая пустота степного пространства и несколько человек на самой его кромке. Трое на виду у земли. Стук железа о железо, запах сдобренной соляной почвы.

— Ну, я пошел, — говорит один, пожилой, взглянув на часы. — А вы как хотите.

— Иди, иди, — подхватывает другой, самый молодой из троих. — Торопись, — добавляет он заботливо, — может, до вечера еще погреб выкопашь. Правильно, а, Сань?

Третий поднимает от работы озабоченное лицо.

— А, Сань? — повторяет молодой,

Мгновенная улыбка на озабоченном оливково-смуглом лице с темными непривычного разреза глазами.

Кто не знает, как это: спросили о чем-то и разворошили костерок. И он высвечивает то одно, то другое. Ну почему, например, этот лунный блеск серпа? А, Саша? Или увал, красный от ягоды.

И собеседника уже нет. А Саша все поворачивает чуть-чуть голову к нему. Так говорите, почему серп? Увал?

Даже их задубевшие за лето пятки не могли терпеть такой жары. Пятьдесят градусов, земля серая и горячая, как лепешка с очага. Солнца не видно, только что-то льется и льется с неба ослепительное и горячее. К вечеру становится легче дышать, и в селе Хлют начинается оживление.

— Селим! Сергей! — кричат матери, собирая мальчишек для работ. Впрочем Селима зовет отец. Матери у них нет. Есть старшая сестра и младший брат. Все собираются, пора. Вот откуда этот лунный блеск серпа. На небе над колхозным полем луна. На остывающей мало-помалу земле люди с серпами. Жатва первых послевоенных лет.

Селим Алескеров уехал из селения Хлют, когда ушел в армию. Оттуда по комсомольской путевке прибыл на Алтай.

Трудится пробужденный костерок. Что еще? Сумрачное немолодое женское лицо. Мать старшего сына Селима Алескерова. Селим оставил ее хозяйкой в своем дагестанском доме, но сам туда не вернулся.

У автора, может быть, и есть выбор: утаить — рассказать. А у героя нет. Что было у него — все его жизнь.

Трудно уходят вековые обычаи. И Селим рос, предназначенный со дня рождения в мужа старшей соседской девочке. К чему подтолкнули его три года службы в армии? К возможности выйти из проложенной кем-то, неумолимо накатанной колеи.

Они просто жадничали с другом. После училища механизации в совхозе на Алтае им дали по старому выношенному трактору.

— Возьмем и по комбайну. А то вдруг забудем, что учили.

Взяли.

— А это я увезла тебя в Степное, — говорит Нина.

— Ты, — соглашается Саша с женой.

— И в Павловск раньше тоже я, — гордо говорит Нина.

— И туда ты, — соглашается Саша.

И не очень понятно тогда, почему, глядя с бессильным удивлением на младшую дочь, когда та с неослабевающим упорством сама проталкивает большие пуговицы пальто в необмявшиеся еще петли, Нина говорит:

— Вот папа-то родимый.

А дочь после трудов спокойно и независимо отправляется через высокое крыльцо и сквозь запертую калитку по своим дальнейшим делам.

Первого сына Нина и Селим Алескерovy называли Юрием, в честь Гагарина.

Когда в деревне праздник, всегда в компании найдется кто-нибудь, кто скажет:

— Саня, давай лезгинку?

Саша встает, становится еще тоньше и выше. Застолье хлопает, кричит — «Вот это да!». Но, правду говоря, не совсем верит, что это самая настоящая лезгинка. Ну как это свой, деревенский, лезгинку танцевать умеет.

И вдруг дагестанское село Хлют придвинулось к Степному. Вот еще когда перед Сашей тяжело и ярко встало это сумрачное женское лицо, лицо теперь умершей жены. Саша ехал в Дагестан за сыном.

— Как у вас там, в Дагестане, Саня? — спрашивали земляки в Степном.

— У нас там хорошо, — озабоченно отвечал он. — У нас хорошо, — повторял он и выплывало расплавленное сияние неба, душистое тепло садов, бесконечное журчание ледяной воды. Отцовский старый дом.

Нина незаметно косилась в зеркало.

— Я совсем старая стала.

Он не замечал этого. Перед ним было обычное и такое вечное, его — густые каштановые волосы Нины, большие серые глаза.

— Почему? — недоуменно спрашивал он.

Он купался в гортанных звуках за десять лет забытой родной речи. Троюродные, двоюродные, его родная сестра, сын Алескер говорили, как его мать, его отец. Голос его маленькой родины... Э-э, если бы знать, какая амплитуда колебаний суждена ему теперь навечно.

— Как у вас там, на Алтае? — спрашивали его сородичи.

Алескер не спрашивал. Он дичился. Селим осторожно сжимал его худенькую руку.

— У нас там хорошо.

А было Степное, сорок семь домов. Поселок — одни околицы. Остальное — поля. И на кромке поля они с напарником Толей ремонтируют трактор. Толя спрашивает:

— Саня, я это правильно сделал?

Или: теплая летняя степь. Увалы усыпаны спелой клубникой. Галя восторженно крутит светловолосой головой над каждой ягодой. И

вдруг, негромко пискнув, скатывается по мягкому травяному склону. Нина хохочет и ловит ее за пузырящееся красное платье.

Или: над полем ночь. На горизонте бродят огни комбайнов. А Саша и Володя Саютин остановили свои. Саша горячится и от этого слова звучат гортаннее.

— Володя, у нас с тобой такие же руки! Почему мы делаем мало?

Володя ведет тревожные подсчеты, сколько они могли бы сделать еще, если бы не автомашины.

А кругом без конца ночь и степь, и пахнет теплой хлебной пылью.

Когда в Новосибирске, по дороге на Алтай, Саша стал переводить часы, ему захотелось подшутить над Алескером.

«Посмотри, который час, — можно было бы спросить у сына. — Правда, ведь четыре часа ночи? А на улицах светло, и люди ходят себе, как днем».

С ним самим случилось так в его первый день на Алтае.

— Почему у вас ночью так светло? — спросили они с другом, не выдержав, у встречного.

— Потому что у нас день, ребята, — засмеялся тот. — А вы, видно, издалека?

Теперь Алескер перешагнул часовой пояс и еще многое.

— Здесь ты будешь жить, — говорит отец. — Здесь будешь учиться. А вот здесь помогать мне, если захочешь.

Он привел его на ту же кромку поля. Сын смиренно стоял здесь и смотрел черными тревожными глазами.

— Как дела, Саша? — говорит управляющий, встречая Алескерова. А вот где встречая — то ли у калитки его дома, то ли у крыльца конторы, сказать трудно, потому что на маленькой их улице все рядом. — Ты что-то вчера горячился?

Оба они хорошо знают о чем говорят. Саша был на сессии в техникуме, и ему, конечно, остались бороны, что похуже.

Может, это гордость так вытянула в струну сашино тонкое сильное тело.

— Дела нормально, — говорит Саша. — Можно выходить.

Управляющий многозначительно кивает и дальше разговор идет как по заказу.

У Саши гидрофицированный агрегат из пяти сеялок. Двух сеяльщиков нужно обязательно.

— Одного, — говорит Саша.

— Не справишься, — говорит управляющий.

— Справлюсь, — говорит Саша.

— Ну, хорошо, опытный ты, работать любишь, орден получил. Но ведь не справишься... А если бы в самом деле получилось. Это ж находка. Людей на отделении так не хватает. А кого в сеяльщики?

— Может, Нина пойдет, — говорит Саша.

— Еще чего, она же и так расхворалась.

— Там воздух свежий.

— На сеялках-то? От пыли не продохнуть.

— Полезная пыль, — улыбается Саша. — Пыль-то хлебная.

И с этой стороны разговор благородно сошел в тупик.

— Как дела в интернате? — спрашивает управляющий.

Саша вчера ездил к Алескеру в интернат. Ребятишки увидели его сразу, закричали:

— Алексей, к тебе отец приехал!

Сын выскочил, убежал, снова выскочил.

Вот уже второй год Саша терпеливо надеется, что сын хоть немного подрастет и окрепнет. Нет, тот же худенький мальчик. Неловко трется около отца.

— Да что там у тебя?

Там была сэкономленная на конфетах или пистонах резиновая кукла.

— Это Гале.

Теплая от кармана Алескера кукла перекочевала в карман отца.

В тетради по русскому языку у сына по-прежнему ошибки. В сочинении «Кем я буду» — тоже. Рука у старшего сына не очень уверенная, но через красные помарки с каким-то вежливым упрямством протянулась строчка: «Буду механизатором, как отец».

— Ты в мастерскую? — спрашивает управляющий. — Пошли.

Мужчины идут, незаметно прибавляя шаг. Беспокойно бьют в степной поселок волны горячего весеннего дня.

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.akunb.ru

Виктор СЛИПЕНЧУК

ИСТОКИ ЗВОНКОГОЛОСОЙ ЧУИ

Любой человек, отправляясь в командировку в Кош-Агач, задолго до отъезда усваивает: Кош-Агач в переводе — прощай дерево, Кош-Агач — это Голодная пустыня, он раскинулся на горном плато на высоте 2800 метров над уровнем моря. Именно здесь около десяти горных речек, сливаясь в одну, образуют знаменитую Чую, а она, спешащая по ущельям к своей сестре Катунь, дает начало...

Впрочем, почему — Голодная пустыня? Первое знакомство с этим удивительным краем как-то не вяжется с понятием «голодная». Стада сарлыков, поднимающиеся по снежным склонам гор, к облакам и словно растворяющиеся в этих облаках. Отары алтайских пухоносных коз на самых дальних чабанских стоянках... Караваны верблюдов, задумчиво и торжественно шествующие по тракту. И если ты впервые здесь, все для тебя — ново, все для тебя — открытие. И это касается не только каких-либо внешних экстраординарных примет, но даже и твоего внутреннего настроя, собранности твоей — удивительно! Ты словно преображаешься и живешь теперь как бы в двух измерениях — вчерашний день отодвигается далеко, а завтрашний кажется почти осязаемым. Здесь, как нигде, чувствуешь время, его движение — может, причиной тому стремительность горных речек и рек, а может, люди тому причиной, их тесная и естественная слитность с природой. И чем больше встреч и знакомств, тем острее желание — встречаться с людьми, понять их и, насколько это возможно, приобщиться к миру их интересов, забот и радостей. И печалей. И вот уже ты покачиваешься в крохотном самолетике, а потом трясешься в старом «газике», едешь верхом, идешь пешком... Так что же такое — эта земля?

* * *

Говорят, чтобы понять, чем интересен дом, нужно прежде понять интересы его хозяина. Горы мне кажутся загадочными, недоступными — и скрытая стихийная сила их кажется неподвластной человеку. Я говорю об этом со старым чабаном, потом с молоденькой учительницей, они смеются, ласково мне объясняют: «А зачем властвовать над горами? Надо хорошо их знать и жить на равных, как с добрым другом...»

Внизу шумит, извиваясь, речка Уландрик. Хорошая речка, одна из тех, которые питают Чую,

а Чуя — родная сестра Катунь... Здесь, на берегу Уландрика, расположилась самая отдаленная чабанская стоянка колхоза имени Калинина — племенная козоводческая ферма. Главное тут — забота о развитии пухового козоводства, мясного овцеводства. И успехов кошагачцы добились немалых. Да и само слово «стоянка» звучит нынче несколько «архаично», осталось оно от времен кочевий. Ни юрт, ни айлов традиционных. Добротно срубленные деревянные дома. Кошары, загоны для коз и овец. Дом животновода у самой речки. Никакой временности, все обдуманно, прочно. Это центр. Отсюда ежедневная почта растекается в чабанские бригады. Сюда съезжаются чабаны на производственные собрания, праздники животноводов. Да и в самих чабанских бригадах вместо айлов и пришедших им на смену вагончиков стоят современные просторные дома. Но не делайте преждевременных выводов и обобщений — хорошо-то хорошо, но и трудностей хватает. Горы. Они везде. Они слишком высоки, лес на них не растет. Редкий, мелкий кустарник и трава, скрытая под снегом, вот вся растительность этого сурового района. Пожалуй, суровость чувствуется во всем, даже в осанке чабанов. Их не спутаешь с коллегами по профессии из степных или лесостепных районов. Там чабаны — народ веселый, избалованный газетчиками. Там вряд ли удивишься, встретив бывшего шофера или тракториста в бригаде чабанов, а бывшего чабана — за рычагами трактора. Не удивишься и чабану, восседающему с книгой в этакой двуколке с навесным козырьком наподобие легкомысленного балаганчика. Пасется лошадь, по своему усмотрению таскает балаганчик по степи, а в ней чабан, читающий роман-газету или штудирующий основы зоотехнии. Кошагачские чабаны — народ особый, неповторимый, можно сказать, потому что в самой профессии этой отсутствует какая бы то ни была случайность. Каждый чабан в Кош-Агаче — это ветвь от одного корня, уходящая вглубь. Занятие животноводством здесь более чем профессия. Оно идет от народных истоков, от самого уклада жизни, от природы. Оно потомственно. Отсюда и суровость в осанке.

Вот он, скуластый, в лисьей шапке, на низкорослом мохноногом меринке, смотрит внимательно, застенчив, но не робок. Здравоваемся за руку. Крепкая шершавая ладонь.

— Устаете за день? — спрашиваю. Улыбается.

— Тридцать лет жил — не устал. Что — день?

Говорит отрывисто, гортанно. Скажет два слова — пауза.

— Наша речка.

— Хороша.

— Поим здесь.

Некоторое время опять едет молча и вдруг, будто вспомнив, добавляет:

— Уландрик. Слыхали?

Я киваю: конечно. Он оживляется, лицо его светлеет.

— А там гора Золотых Грифов...

Вдруг прищипнул коня, поскакал по склону. Правая рука вытянута и отведена назад, будто для броска аркана. Так неожиданно вышло — не успели как следует поговорить, познакомиться не успели...

Внизу шумел Уландрик.

* * *

— Абуғалимов Хазбулат Чабарданович, — представился невысокий паренек и добавил: — Секретарь комсомольского комитета колхоза. Направлен председателем в помощь вам. А то еще заблудитесь.

— Ну, что вы! С таким шофером на край света можно. Все знает.

Хазбулат удивляется:

— Вы говорите по-алтайски?

— А вы по-русски!

Брови его у переносицы вздрогнули и мягко, как бы опадая, разошлись. Хазбулат улыбнулся.

— И по-казахски тоже.

...И вот мы едем в чабанскую бригаду Приказа Самажанова. До бригады пятнадцать километров. Мы часто съезжаем с дороги, встречаем группы всадников с женщинами и детьми. Это чабаны и скотоводы. Целыми семьями спешат они в Уландриковский дом животноводов. Сегодня там собрание, а после — выступление ансамбля народной песни и танца «Чуя».

Нас спрашивают:

— Подъехал автобус с артистами?

— Подъехал, — шофер Костя внимательным взглядом буквально ошупывает каждого всадника, он боится разминуться с Самажановым. Ведь нет никакой гарантии, что он не выехал на собрание. До телефонной связи между чабанскими бригадами руки пока не дошли. Хазбулат — оптимист высокой концентрации. Он утверждает, что телефонизация — дело ближайшего будущего. И посмеивается:

— А то, может, спутники приспособили для связи. А что?

От Хазбулата я узнал, что Самажанову тридцать лет. Он коммунист. Однако с комсомолом не порывает, свидетельство тому — переходящее Красное знамя райкома ВЛКСМ, врученное комсомольской бригаде Приказа Самажанова за победу в социалистическом соревновании 1972 года по заготовке грубых кормов. О, корма — это всего важнее!

— А как он комсомольцем работал! — восклицает Хазбулат. — У него от ЦК ВЛКСМ значок «Золотой колос» и Почетная грамота, а уж наших колхозных и не сосчитать.

— А разве сейчас он хуже работает?

— Нет, лучше. Недавно во Фрунзе ездил на слет животноводов. А жену его, Чапигат, наградили орденом Знак почета.

— Стоп! — сказал Костя и остановил га-зик. — Вон он.

Я узнал его сразу. Это был он. Скуластый, в лисьей шапке, на низкорослом монголоиде. Он тоже меня узнал, улыбнулся. Спрыгнул с коня, передал повод товарищу и не торопясь подошел к машине.

— Принимай гостей, — сказал Хазбулат.

— Гостям всегда рады. А чего ж вы тогда не сказали, что ко мне?

И вот мы в гостях у Приказа. Разговариваем о том, о сем. Приказ говорит мягко, отвечает на вопросы коротко. Хорошо работаем? А почему должны плохо работать? Для кого работаем?

Рядом Чапигат, дети — трое мальчиков. Чапигат хлопочет у железной печки, а дети взирались на стопку козров у стены и затаились. Только глазенки сверкают, как притухшие угольки. Чапигат приготовила ароматный чай, налила в пиалы.

Пьем неторопливо, с наслаждением, Чапигат все подливает, подкладывает сырчик.

Да, нелегкая чабанская работа, но нелегкая — не значит плохая. Легко тому, кто не работает. Приказ возражает:

— Тому, кто не работает, не позавидуешь.

У него свое понятие на этот счет. Хазбулат сказал:

— А ведь Приказ еще и учится. Заочно в одиннадцатом классе национальной школы.

Мы с Чапигат и Приказом вышли посмотреть отару коз. Разговор наш продолжался. И я узнал, что отец Приказа погиб на фронте, а мать живет с ними. В прошлом она чабанка, сейчас тоже помогает. Такой опыт! А потом усидеть не может. У нее же вся жизнь с этим связана. Вся жизнь. Конечно, за такой большой отарой, как у сына, ей не пришлось ходить. В ее время 650 граммов пуха с одной козы рекордом считалось. Козы другие, что ли? И козы, конечно, другие. Время другое — это точнее. Условия изменились.

Родители Чапигат, так же, как и мать Приказа, потомственные животноводы. Подумалось о том, что вот здесь где-то берет начало звонко-струйная речка Уландрик, бежит к Чуе, а та впадает в Катунь...

— Я как-то по Оби плыл, — сказал Приказ. — Большая река. А я все думал: и нашего Уландрика вода здесь течет. Интересно.

Сказал и задумался.

Потом мы попрощались. И Приказ, проводив нас, заспешил на концерт ансамбля «Чуя».

* * *

Настоящее знакомство с ансамблем народной песни и танца «Чуя» состоялось не в Кош-Агаче и даже не в Уландрике. Мы познакомились на пути к пограничной заставе. Путь лежал не по тракту, ПАЗик, поднимаясь в гору, то и дело буксовал. Где-то на высоте трех тысяч метров произошла первая остановка. Выбрались из автобуса, снегу по пояс. На душе беспокойно, из двадцати человек, не считая шофера, всего шесть мужчин, остальные девчата. К тому же артистки, много ли с них возьмешь... Ошибался. Километров пять, а может и все десять мы несли ПАЗик буквально на плечах. И никто не роптал, не клял погоду, машину. Девчата оказались на удивление стойкими. Позже руководитель ансамбля

Николай Константинович Воинков рассказывал, что однажды с ними произошел случай покрепче. Застала их метель. Автобус съехал с дороги и провалился. Более суток воевали с бураном, откапывались. «Вот когда было тяжело. Выручили пограничники. А это цветочки, — улыбнулся он. — Перепугался я тогда, ну, думаю, все, поморожу девчонок, а они молодцы, мы, мужики, слегли, а они насморком отделились, во как!». Откуда в них такая выдержка, стойкость духа? Пожалуй, ответ заключен уже в самом названии: ансамбль народной песни и танца «Чуя». Еще добавьте, что из двадцати его членов шестнадцать — комсомольцы, а сам Николай Константинович — коммунист. «Верховную» власть в ансамбле, если можно так выразиться, осуществляет Совет председателей колхозов Кош-Агацкого района. Они финансируют ансамбль. В ноябре этого года ансамбль будет праздновать свое пятилетие. За пять лет все убедились: ансамбль «Чуя» — это не только одна из форм культурного отдыха сельчан, но и своеобразная форма привлечения молодежи в колхоз.

В ансамбль принимаются одаренные юноши и девушки только из колхозов, владеющих тремя языками: русским, алтайским и казахским. Зарплата членов ансамбля регулируется степенью отдачи. Минимальный оклад у новичков сто десять рублей. Наиболее одаренным ансамбль помогает учиться дальше. По настоянию председателей ансамбль возглавил развитие художественной самодеятельности в сельских клубах, дворцах культуры. Ему предоставлено право наиболее способных из своих рядов рекомендовать заведующими колхозными клубами. Практика показала, что солисты ансамбля легко приживаются в селах, являясь истинными руководителями художественной самодеятельности на местах.

Тот же Хазбулат в прошлом — член ансамбля, затем заведовал клубом на центральной усадьбе Калининского колхоза, а в этом году комсомол села избрал его своим вожаком. А как же иначе. Эти люди пришли в ансамбль из колхоза, живут его заботами, его нуждами. Скажем, домбристка Калима Байгонакова. Ее двоюродный брат — Приказ Самажанов. У солистки народного танца Сетеры Коккопьяновой братья

Муслим и Далишь — табунщики. А у Тамары Бойдаевой мать и отец — животноводы. И так — кого ни возьми. Это поистине народный ансамбль не только по содержанию концертных программ, но и по принадлежности.

Любят кошагагачы свой ансамбль. «Как же, наши!» И охотно рассказывают о нем. Хазбулат не без гордости мне говорил о том, что в ансамбле шесть дипломантов недавнего зонального смотра коллективов художественной самодеятельности, что выступали они по телевидению не только в Барнауле, но и в Свердловске.

А Николай Константинович сетует:

— Конечно, состав у нас интересный. Но ваймся в собственном соку. Нам бы поездить по краю, посмотреть другие ансамбли, например «Алтаюшку» из Белокурихи или еще какой-нибудь. Перспектива нужна.

И он, конечно, прав. Ведь другого подобного ансамбля у нас в крае нет. Может, председатели колхозов соседних районов, не только горных, но и степных, заинтересуются, обратят внимание на опыт кошагагачев. Он заслуживает того.

* * *

Уезжал я утром. Неподалеку от Уландрика сделали остановку. Над горами плыли сизобелые кучевые облака, плыли медленно и торжественно. Потом я различил — это отара поднималась вверх. Я представил себе строгое, опаленное солнцем лицо Приказа Самажанова и подумал о том, что для него работа неотделима от самого понятия — жизнь. Потом мы ехали по-над Чуей и я опять вспоминал Приказа, как он плыл однажды по Оби и отыскивал в ней чистые струи своего Уландрика. Трудно сказать, встретимся ли мы еще с Приказом Самажановым, доведется ли нам еще посидеть за чашкой ароматного чая, по какому-то особому рецепту приготовленному его женой Чапигат, но помнить я буду всегда о том, что есть такой человек, живет в одном из прекрасных уголков нашей большой и великой страны. Великой потому, что живут в ней такие люди, как Приказ Самажанов, как Чапигат и Хазбулат, как девушки из ансамбля «Чуя», как многие из тех, с кем предстоит мне еще встретиться...

Юрий МАЙОРОВ

ВСТРЕЧИ ЗА ОКЕАНОМ

... В Филадельфии ко мне подошел седоватый человек и, не говоря ни слова, протянул свою визитную карточку: мистер Грант Пендвилл. А на обратной стороне визитной карточки был весьма характерный рисунок: в крепком рукопожатии сплелись две руки с двух континентов. И подпись на русском языке: «Американские и советские ветераны — боевые товарищи — должны жить в мире и дружбе». О себе мистер Пендвилл рассказывать не стал. Но я почему-то верю, что он находился среди тех, кто в незабываемом 45-м встречался с советскими солдатами на Эльбе, кто приветствовал в июньские дни 1973 года визит Генерального Секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в США.

За последние десять лет мне довелось дважды побывать в Соединенных Штатах Америки, так сказать, своими глазами увидеть эту сложную и противоречивую страну. Я был в составе молодежных делегаций и, естественно, в своих заметках мне прежде всего хотелось бы сказать о некоторых сторонах жизни американской молодежи. Я встречался с представителями многих молодежных организаций. Скажу прямо, среди них не нашлось места юношам и девушкам из числа рабочих или фермеров. Молодое поколение «представляли» бизнесмены, адвокаты, функционеры республиканской и демократической партии, словом, те, кто уже начал «путь наверх», но еще сделал только первые шаги по «коридорам власти». Разумеется, что в своих высказываниях они отражали точку зрения того класса, который представляли. Тем не менее их точка зрения на молодежное движение, социальные проблемы США имеют определенную познавательную ценность.

Каждый мало-мальский уважающий себя турист начинает рассказ с описания транспортного средства, с помощью которого он прибыл на место назначения. Не буду и я отступать от по добной традиции. Итак, «Боинг-747» со скоростью 1000 километров в час приближал нас к столице Соединенных Штатов — Вашингтону. Не знаю, как с точки зрения специалистов, а мне — простому пассажиру — эта машина нравится. Судите сами. Шесть салонов вмещают почти пятьсот пассажиров. У каждого кресла наушники. По радио передается несколько музыкальных программ — рассчитанных на все вкусы. В помещении прохладно: вентиляция работает

в полете и на стоянках. Желающие размяться могут по винтовой лестнице пройти в танцевальный салон. Здесь столики и диваны, телевизор, радио-телефон, автоматы с напитками и сигаретами. Можно даже танцевать.

И вот эта-та машина и донесла нас в считанные минуты из Нью-Йорка в столицу Соединенных Штатов. Затем легкий, спортивного типа автомобиль и широкие проспекты Вашингтона. А вот чтобы попасть в правительственную резиденцию, времени потребовалось значительно больше. Битый час стояли мы перед Белым домом. Улица перегорожена деревянными барьерами с надписью: вход воспрещен. Полицейские с портативными передатчиками расхаживают по пустынному асфальту. Национальные гвардейцы оккупировали газоны и лужайки. Между деревьями мелькают походные палатки, в которых коротают время командиры. Несколько фигур в мундирах маячили даже на крыше Верховного суда. В Вашингтоне было «жаркое» лето. В столице не прекращались молодежные демонстрации, направленные против милитаристских кругов. Судя по первым впечатлениям, местным властям приходилось туго. Эти впечатления усилились после того, как сразу же начала срываться наша программа. Так, не была запланирована полтора часовая стоянка у Белого дома. И мистер Вашингтон, мэр города Вашингтон, не смог сдержать своего слова и принять советскую делегацию. У мэра не оказалось свободного времени. Срочные дела были связаны с антивоенными демонстрациями. Мало ли что может случиться. А ведь федеральные войска в ведении мэра...

Вот почему в небольшой зал для гостей вышел молсдой помощник мэра. Разумеется, наш первый вопрос был о ситуации в городе. Местные газеты не скупилась на крупные аншлаги. С каждым выпуском росли цифры арестованных. 2 тысячи... три. Последнее сообщение — семь тысяч...

Однако молодой помощник был чуть ли не безразличен к газетным сообщениям. Зачем волноваться, господа! Ведь к встрече демонстрантов подготовились основательно. Мэр находится в специальном пункте, получает всю информацию. Все необходимые меры будут приняты незамедлительно. Ведь цель правительства — не выпустить демонстрантов из определенных рамок. А чтобы не нарушался «закон и порядок», всегда наготове «сильные» успокаивающие средства. По мнению помощника мэра, газ, исполь-

зубый полицией, весьма эффективное, но безвредное средство...

Мы не были в обиде на помощника мэра. Все-таки он только помощник и не его вина, что интервью в мэрии сорвалось.

В качестве «компенсации» нам было предложено познакомиться с портативной выставкой... наркотиков. На стенде представлены «орудия производства» поклонников дурмана, наглядно показан «передовой опыт» контрабандистов. На меня же наибольшее впечатление произвел маленький невзрачный пакет. В нем — порция героина. Одна-единственная. Стоимость — десять долларов. А таких порций провозится через таможенный кордон десятки миллионов.

Из мэрии мы вновь пробирались через шпалеры национальных гвардейцев и многочисленные митингующие группы людей. Читатели, конечно, хорошо знают о тех невиданных по размаху антивоенных демонстрациях, которые развернулись по всей стране. Они серьезно повлияли на политическую атмосферу в стране, с ними должны считаться и считаются все политические лидеры. И все-таки, мне думается, что не следует переоценивать их значение. Свои острейшие демонстранты направляют не против существующего капиталистического строя, а против отдельных «неправильных» ее шагов.

Безусловно, нельзя сомневаться в искренности тех американцев, которые по горло сыты различными махинациями милитаристов. Но как трудно молодому человеку найти в той атмосфере свое истинное место в рядах бойцов! Как часто бурлящая энергия молодости искусно направляется по ложному руслу. Право же, как-то неловко было видеть десятки юношей и девушек, которые выражали «протест» против буржуазного общества с помощью пренебрежения к собственной внешности и лохмотьев костюма. Но дело разумеется не только и не столько в костюмах.

Мы услышали из уст директора по молодежным вопросам при госдепартаменте мистера Аллмана весьма любопытную характеристику подрастающего поколения Соединенных Штатов. — Нынешняя молодежь, — сказал он, — эмигрант времени. Одной ногой она стоит в прошлом, другой — в будущем.

Красивая фраза! Однако согласиться с ней полностью — значит стричь всех юношей и девушек под одну гребенку. Безусловно, в стране есть определенные слои молодежи, которые хотели бы спрятаться от самых актуальных проблем, забыть о двадцатом веке. Хотя бы с помощью наркотиков...

Но вряд ли подобные личности составляют большинство молодого поколения. Не случайно в настоящее время многие политические лидеры и государственные деятели расточают немало комплиментов подрастающему поколению, делают на него определенную ставку. Ведь даже сама должность директора по молодежным проблемам появилась при правительстве Никсона. Весьма характерная деталь! Вряд ли раздувались бы штаты, если бы речь шла об эмигрантах.

Другое дело, что правительство, буржуазные партии беспокоят определенное невосприятие значительной частью молодого поколения некоторых «ценностей» капиталистического мира, стремление вырваться из узкого и затхлого мирка «каменных» джунглей. Но причем тут эмиграция! Наоборот!

Весьма характерно, что сегодня при главных политических партиях имеются штаб-квартиры по молодежным проблемам. В одном из таких центров республиканской партии я побывал. Речь идет о федеральном студенческом совете. В эту организацию входит 150000 человек. Кроме того, имеется более 1,5 миллиона сочувствующих. Специальные клубы созданы чуть ли не во всех штатах.

Каковы условия приема? Их три: быть гражданином США, платить членские взносы (чисто символическая сумма — 2 доллара в год), признавать программу совета. Нетрудно видеть, что главным является третий пункт. Каковы же основные задачи, поставленные организацией? Это прежде всего, активное участие в выборах: на стороне своей партии разумеется. Продвижение студентов-республиканцев в общественной жизни, иными словами, совет помогает делать своим членам служебную карьеру.

Как видим, перед членами организации поставлены совершенно четкие партийные требования. В качестве же вознаграждения — определенные гарантии на «место под солнцем». Студенческий совет стремится расширить свое влияние на юношей и девушек. Как нам сообщили, обычно пресс-служба направляет свои информационные материалы в 1100 университетских кампусов (студенческие городки). Кроме того, начат выпуск специальной газеты для студенчества всей страны.

Для оценки серьезности подобного шага необходимо напомнить читателям, что в США нет общенациональной газеты за исключением мало популярной «Уолл стрит джонэл». Так что один только этот факт говорит о растущем внимании руководителей совета к использованию средств массовой информации и пропаганды.

Содержание материалов не вызывает особых сомнений. Ведь молодые республиканцы всецело должны поддерживать свою партию, находящуюся у власти.

Вот несколько ответов одного из представителей комитета мистера Бартлетта.

— Каково отношение комитета к студенческим волнениям?

— Те, кто демонстрирует свое желание добиться мира за границей, не должны нарушать его дома. Мы считаем, что можно решать проблемы, не устраивая беспорядков на улице. Решать проблемы необходимо с помощью существующей политической системы через систему выборов.

— В таком случае, как вы расцениваете деятельность «Лиги в защиту евреев», члены которой не церемонятся с правилом «закона и порядка»!

Мистер Бартлетт задумался, потом ответил:

— Отрицательно!

— Были ли на этот счет публичные высказывания членов комитета?

— Нет. Ибо данная проблема выходит за рамки нашей политики.

Я думаю, что читатель не удивится подобным противоречивым ответам.

Вернемся, однако, к проблемам молодежи. Республиканцы в своем внимании к подрастающему поколению не оригинальны. Такую линию проводят и демократы. Оно и понятно. Ведь в настоящее время в стране имеется более 12 миллионов человек в возрасте 18—20 лет. За

кем они пойдут! Это главное. Причем такая постановка вопроса, с точки зрения политиков, вовсе не означает, что молодежь должна активно влиять на судьбы страны.

— Большинство молодежи такого возраста является учащимися, — поделился своими соображениями конгрессмен демократической партии Фолей. — Среди учащихся активности мало. Если снизить возрастной ценз для избирателей, то я полагаю, сдвига влево не будет. Молодые люди, работающие на заводах, фермах, интересуются прежде всего своими делами. Молодые избиратели меньше интересуются политикой, нежели старшее поколение.

Личное мнение мистера Фолея в общем-то разделяют многие политические деятели. В этом, на мой взгляд, отражается не только определенная доля неуважения к юношам и девушкам. В этом, главным образом, видно желание самим быть представителями интересов наиболее мобильной части американского общества. Очень показательно, что государственные мужи частенько довольно откровенно говорят о проблемах, стоящих перед теми, кто только еще вступает в жизнь.

Например, тот же мистер Фолей точно определил причины, порождающие среди молодежи преступность: бедность, неустойчивость в семьях, безработицу. Приблизительно то же самое мы услышали в мэрии города Чикаго. Здесь на вопрос о самой острой молодежной проблеме ответили так:

— В настоящий момент — экономическая занятость среди выпускников средних школ. Экономика страны не стабильна. Федеральное правительство отказало в увеличении ассигнований на создание рабочих мест для молодежи.

Откровенно! Да! Но откровенность сразу же исчезает, как только встает вопрос о том, кто виноват и какие можно найти наилучшие пути для решения актуальнейших проблем. В лучшем случае, в качестве козла отпущения фигурирует какой-либо чиновник из администрации. В огромном же большинстве бесед нас стремились убедить, что бедность — это результат определенных комплексов: недостаточные способности, отсутствие предприимчивости, нужной энергии для бизнеса и т. д. Миф о сапожнике, который может стать миллионером, все еще жив в сознании многих американцев. Дескать, если кто и не выбился в люди, пусть пеняет на себя. наших оппонентов при этом вовсе не смущает тот факт, что среди «неудачников», даже по признанию официальных органов, числятся десятки миллионов человек... Какже уж тут комплексы!

Что касается выходов, то их предлагается бесчисленное количество. Проблема самоусовершенствования, технология делания денег — всегда популярная тема. Ведь она так отвлекает людей, особенно молодых, от главной задачи американского общества — борьбы с заплатами денежного мешка, теми, кто выражает интересы капиталистического класса.

Понимают ли это «сильные мира того»? Безусловно! Потому-то объективно и субъективно они стремятся направить молодежное движение по ложным путям, сбить юношей и девушек с позиций классовой оценки событий, представить наиболее активных американцев эмигрантами времени...

И здесь им на помощь приходит пресса, кинематограф, радио, телевидение... Словом, все

средства массовой информации и пропаганды. Вот несколько примеров методов подобной обработки.

ПРЕССА

Это случилось в один из осенних дней 1967 года в американском городе Хипплендия... Вы, читатель, недоумеваете, — ведь такого города не было в США, если судить по всем географическим справочникам. И будете правы, так же как и справочники. «Хипплендия» — географическая новость, нигде не зарегистрированная, разве только в жаргоне некоторой части американской молодежи, подразумевавшая под этим один из кварталов Сан-Франциско.

Так вот, 6 октября 1967 года в «Хипплендии» состоялись похороны. В могилу опустили гроб с атрибутами хиппи. После похорон участники траурной процессии известили о роспуске своего движения. Причем сделали это не только устно, но и, как говорится, в письменном виде. В листовках, выпущенных к этому «историческому» дню, говорилось: «Было время, когда человек надел бусы и стал хиппи. Сегодня он снимает их и становится человеком — свободным человеком». Как оказывается, мало нужно, чтобы быть свободным! Пойдем, однако, дальше. Авторы утверждают, что «свободный человек создает свой новый мир внутри самого себя», и т. д. и т. п.

Итак, дело, что называется, сделано. На «модном» среди некоторой части молодежи течении поставлен крест.

Но вот разворачиваю один из номеров respectable журнала «Ньюсуик» и читаю восторженное описание фестиваля хиппи, состоявшегося на озере Уайт-Лейк в штате Нью-Йорк. Какие же краски выбирает «Ньюсуик» для хиппи! Самые яркие!

«Целая армия длинноволосых молодых людей, по численности почти не уступающая американским вооруженным силам во Вьетнаме, съехалась на крошечное озеро Уайт-Лейк в штате Нью-Йорк».

С какими мыслями направлялись сюда хиппи! Были и идеи. Например, такие: «Сохрани красоту Америки — отдайся во власть дурмана», «Любовь — только любовь». Естественно, что кроме идей был запас марихуаны и других наркотиков.

Программа фестиваля! О, самая разнообразная. Например, в один из трех дней «самые злые хиппи устроили собачий лай и бешеные пляски при свете вращающихся прожекторов». «Ньюсуик» «скромно» утверждает, что Вудстокский фестиваль отражает «идеи нового поколения: коллективную жизнь на лоне природы, употребление наркотиков, устройство выставок произведений искусства и ремесел, выставок одежды, пение песен, проникнутых революционным (!) духом». Журнал, правда, не пояснил, какая революционность заложена в собачьем лае...

Что касается выставок одежды, то после фестиваля «те немногие, которые все еще бродили нагишом, с сожалением натянули на себя одежду, — все, за исключением одного молодого человека, который был задержан полицией за то, что пытался добраться домой в чем мать родила».

Кстати о полиции. Начальник полиции города Беверли — Хиллс Кимбл заявил: «Я никогда не

видел столько народа на такой небольшой территории, который был бы настроен столь миролюбиво». Какие комплименты в адрес детей рока и коммюны хиппи «Свиноферма», которая поддерживала порядок мирными средствами! Но почему-то Х. Кимбл не стал особенно распространяться по поводу результатов «мирного настроения и мирных средств». А они таковы: три смертных случая, два случая преждевременных родов, пять тысяч различных травм, начиная от порезанной ноги и кончая переломом черепа... Вот тебе и о'кей!

Но самое любопытное не это. Буржуазная пресса упорно старается выдать хиппи за носителей идей всего поколения. «Вудсток знаменует уход молодых американцев в себя, самоуглубление!». Так утверждает «Ньюсуик». «Вполне вероятно, что хиппи проложили — во всяком случае духовно — путь для нового образа жизни и мышления в наступающем десятилетии», — вторит «Тайм». Чего уж там десятилетие! Статья, которую мы цитировали, называется «Век хиппи»...

Почему же столь щедро на авансы американская печать! Да потому, что все «фокусы» хиппи ничем особенно не угрожают существующему строю. Собственно, что хотят дети рока! Размах требований необычайно широк и расплывчат: здесь и выступления в защиту «свободной» любви, и предложения по превращению Непала в очередной штат США, и создание мифа о силе цветов, с которыми надо, якобы, идти против полицейских штыков...

А на практике! «Путешествие в глубь самих себя» происходило с помощью наркотиков. А это значит — связь с бандами, гангстерами.

А это значит — рукой подать и до прямой уголовщины. В августе 1969 года вся Америка была потрясена зверским убийством голливудской актрисы Шарон Тейт и четверых ее гостей. Сама хозяйка была на девятом месяце беременности... Убийцы — хиппи, сменившие цветы на ножи. Действовали они по приказу некоего Мэнсона, который, между прочим, побывал в свое время и в «хипплиндии».

Пацифизм! Но стремление, по крайней мере на словах, уйти от политики прямехонько вело детей рока в объятия тех идеологов империализма, которые хорошо поняли, как можно использовать внутреннюю пустоту деклассированной молодежи, ее оторванность от рабочего класса, ее политическую близорукость.

А теперь несколько слов о том, как старательно «объективная» буржуазная пресса не замечает весьма существенных сдвигов в молодежном движении.

ДВА ЧАСА В „ЧИКАГО ДЕЙЛИ ПЬЮС“

Среди чикагских небоскребов это здание выглядит почти незаметным. Подумаешь, всего-навсего каких-то шесть этажей. Но даже самые сильные мира того» непрочь завести дружбу с хозяевами влиятельной газеты, заывают журналистов в свои оффисы. Если даже какой-то представитель прессы затем и позволит (точнее, если ему позволят) сказать несколько нелестных слов, все равно это будет паблисити, которое в Америке выше всего.

Большое внимание к прессе я почувствовал уже в вестибюле здания. На видном месте под стеклянными колпаками выставлен сероватый кусок лунного камня. Подарок американских космонавтов. Немногие могут похвастаться подобным презентом.

Мерный рокот кондишенов. Треск печатных машинок. Обычная газетная суетня. Сотрудники, как правило, не имеют отдельных кабинетов. В зале человек 30—40. Сразу и не сосчитать. Лишь редакторы отделов сидят в застекленных конторках.

А ведь «Чикаго дейли ньюс» — одна из крупнейших в стране. Достаточно сказать, что ее разовый тираж достигает 450.000 экземпляров.

Конечно, представители «Чикаго дейли ньюс» — вице-президент А. Витресс, редактор международного отдела М. Шуман, да и другие руководители, бывшие на встрече, уверяли, что они работают «объективно» в рамках фактов», «непредвзято» и т. д. Словом, я услышал обычный набор демагогических фраз о надпартийности буржуазных газет, свободе слова и т. п., цену им, причем в буквальном смысле этого слова, показывал рассказ о своей деятельности коммерческого директора издательства Д. Хоммера.

Начнем с того, что еще несколько лет назад мистер Хоммер и не мечтал о «деловом» сотрудничестве с прессой. Он слыл удачным бизнесменом, специализируясь на продаже... постельного белья. Занятие, прямо скажем, весьма далекое от печатного слова. Тем не менее именно Хоммер был приглашен в столь высокие «интеллектуальные» сферы.

Удивляться тут нечему. Ведь газета в буржуазном мире — это, помимо всего прочего, и предприятие по деланию денег. Есть хватка у торговца, почему бы ее не использовать! Как рассказал сам мистер Хоммер, 65 процентов всей газетной площади отводится под рекламу. Цена же только одной полосы составляет весьма кругленькую сумму — в 1200 долларов. Естественно, что выкладывать подобные деньги могут боссы с весьма тугим кошельком.

Коли коснулись газетной рекламы, то весьма интересно отметить те принципы, на основе которых она строится. Если принимать все слова мистера Хоммера за чистую монету, то вроде бы все предельно просто. В каждом городе, разумеется и в Чикаго тоже, имеется бюро рекламы. Имей только деньги и все будет о'кей. Раз платишь, то можешь заказывать музыку. Какую! Какую хочешь! — широким жестом отвечает мистер Хоммер. — Мы могли бы дать рекламу даже книге «Майн кампф».

Потрясающая смелость! Но затем следует такой вопрос:

— А могли бы вы поместить рекламу на советские издания!

Лицо мистера Хоммера сразу стало скучноватым.

— Я не думаю, что могу рекламировать советские издания.

Впрочем, не будем слишком придирались к мистеру Хоммеру. Вне зависимости от его ответа давно известны все «секреты» пропагандистской кухни.

Но право же нельзя было не удивиться, когда в качестве аргумента в пользу «свободы» печати Хоммер привел следующий случай.

В Чикаго шли дебаты по поводу выборов нового мэра. Вопрос, как говорится, жареный. Го-

лова города Дейли прославился своей ненавистью ко всему прогрессивному, своей жестокостью во время расправы с молодежными демонстрациями в Чикаго в 1968 году. Все это вызвало большое возмущение даже среди некоторой части либеральной буржуазии.

Дабы соблюсти видимость «равноправия» отцы газеты решили предоставить сторонникам и противникам мэра равный размер газетной площади. Вот, дескать, какая у нас демократия.

Сторонники же мэра... перекупили у своих противников отведенные тем «законные» страницы. Разумеется, выложив на бочку солидную сумму. О стоимости подобных «демократических» шлагов мы уже не говорили...

Реклама, конечно, используется не только для экономических целей.

— Мы хотим дать через рекламу представление о боссе и его деле, — откровенничает Хоммер. Комментарий, как говорится, излишни!

Но кроме рекламы надо куда-то использовать еще 35 процентов газетной площади. А это немало. Разумеется, «Чикаго дейли ньюс» насчитывает несколько десятков страниц.

Чем они заполняются! Основную зарубежную и внутреннюю информацию поставляют крупнейшие американские агентства: ЮПИ и Ассошиэйтед пресс. Монополия на информацию дает возможность правящим кругам поставлять газетам то, что им выгодно.

Разумеется, «Чикаго дейли ньюс», как и всякая солидная буржуазная газета, имеет свой штат корреспондентов, которые работают в «рамках фактов». Но что же это за рамки! Их устанавливают сами хозяева.

Чикаго, как известно, один из центров активного рабочего и молодежного движения Америки. Не случайно, именно здесь несколько лет назад произошло весьма знаменательное событие — учредительный съезд комсомола США. Вопрос мистеру Биллу Брайену, ответственному за освещение молодежной проблематики в газете, был таков:

— Как реагировала газета на состоявшийся в Чикаго первый съезд комсомола?

— Не помню, чтобы он освещался.

«Забывчивость» мистера Брайена вполне объяснима. Ведь и другие буржуазные газеты объявили «заговор молчания». Хотя для живописных описаний сборищ хиппи, наркоманов ни газеты, ни журналы места не жалели.

ТЕАТР

— Господа! Есть приятные новости, — радостно сообщил нам переводчик Билл, входя в автобус. — Удалось достать билеты на спектакль «Волосы».

Чувства Билла можно понять, если вспомнить, что «Волосы» идут в одном из бродвейских театров уже третий год подряд, ежедневно. При неизменном аншлаге, несмотря на бешеную цену билетов. Мне, например, пришлось сидеть на первом ряду балкона. Стоимость этого места — 11 долларов.

Итак, «Волосы». Авторы — молодые драматурги Д. Радо и Д. Рагни. Подзаголовок произведения — «Музыкальная пьеса об американской племенной любви».

Мы подъехали к театру [помещение которого, кстати сказать, весьма скромное], когда

подъезд штурмовался многочисленной публикой. Среди желающих попасть на модный спектакль и весьма уважаемые джентльмены, и плюющие на все условности хиппи, но больше всего нормальной молодежи. Продираясь сквозь толпу, добрался до своего места.

Спектакль уже начался. На полутемной сцене какое-то странное нагромождение из досок, белья, веревок. Прожектора перескакивают с одного предмета на другой. Наконец, они останавливаются на главном герое пьесы (назовем его Клод), который вышел на авансцену в мини-плавках. Клод спускается в зад и лезет по спинкам кресел.

— Вы хотите, чтобы я разделся и дальше! — обращается он к одной из дам, которой удалось занять место в первых рядах партера. — Потерпите, я это сделаю позднее. — Забегая вперед, скажем, что Клод сдержал свое слово. На сцене товарищи Клода. Каждый занимается чем хочет. Один, например, с помощью каната потарзаньи с воплем запрыгнул прямо на балкон. Другие имитируют сцены изнасилования...

Сюжета, как такового, вначале нет. Идет целый хаос вроде бы случайных эпизодов. И только к середине первого действия более или менее начинает проявляться определенная композиционная линия. О содержании спектакля до сих пор идут споры среди искусствоведов. Мне не хотелось бы вмешиваться в дискуссии специалистов, а просто рассказать о своих, может быть, поверхностных впечатлениях.

Прежде всего я не мог не обратить внимания на бурную реакцию публики. Многие сцены и реплики встречались аплодисментами. Зал буквально реагировал чуть ли не на каждое слово Клода, его товарищей. Что это! Нездоровый интерес к некоторым демонстрациям «сексуальной революции» на сцене! Вряд ли. Ведь рядом с театром есть заведения, куда «детям до 21 года вход воспрещен», где можно увидеть «вещи и почище», притом за более умеренную плату. Видимо, основа столь большого внимания находится глубже.

Вот чуть ли не весь зрительный зал окутали клубы дыма: идет сожжение призывных регистрационных карточек. Вот уши ломит от раздражающего душу воя пикирующих бомбардировщиков: война во Вьетнаме.

— Что такое армия! — несетя со сцены. — Армия — это когда белые люди посылают черных воевать против желтых во имя обороны земли, которая украдена ими у краснокожих.

В зале аплодируют.

— Нужно ли нам нынешнее общество! Не нужно, — утверждают артисты вместе с авторами спектакля. — Назад к Адаму и Еве! — И выходят на авансцену голыми...

Дух бунтарства! Что ж! Кое-что есть из этого чувства. Но чем больше вдумываешься в содержание спектакля, тем сильнее приходишь к выводу, что бунтарство-то это строго дозированное.

Что, собственно, нового услышали зрители! В общем-то ничего. Война — это плохо. Так она давно уже осточертела всем людям, которым приходится проливать свою кровь за интересы самых реакционных кругов страны. Критика буржуазной (точнее, некоторых ее проявлений) морали — тоже сейчас не новость. Но во имя чего это делается! Какие конструктивные мысли несет спектакль! Авторам ведь не нравятся и

антивоенные демонстрации. Они пародируют и движение негритянских юношей и девушек «Черные пантеры». Вот и получается, что все возмущение неустроенностью — это глас вопиющего в пустыне, определенного рода политическое кокетство.

Весьма характерен с этой точки зрения финал спектакля. Звучит бравурная музыка. Артисты начинают танцевать. Им весело. И они приглашают зрителей разделить это веселье. На сцену из зала выскакивают десятки юношей и девушек. Оркестр неистовствует. Танцующие тоже. Все забыто! Все!

Мне хотелось бы процитировать слова американского искусствоведа Говарда Лоусона, приведенные в книге известного советского журналиста Ю. Жукова «Из боя в бой».

«Волосы» — это отрицание всего на свете, — отмечает Г. Лоусон. — Конечно, даже инстинктивный протест против войны во Вьетнаме, против расизма, против реакции ценен. Но когда такую бунтарскую пьесу активно поддерживает сама буржуазия, когда ее восхваляет пресса, когда посещение этого циничного спектакля становится признаком хорошего тона у «сильных мира сего», приходится задумываться: почему это происходит! В самом деле, почему! Да потому, что пьеса эта раскалывает бунтующую молодежь, сеет в ее рядах цинизм и обезоруживает борцов. Вот что опасно!»

«Волосы» в настоящее время ставятся не только на Бродвее. Они идут в некоторых других городах Соединенных Штатов, Канаде, Англии... Их собираются ставить во многих странах Европы.

* * *

И все-таки все больше и больше появляется юношей и девушек, которые если еще не нашли своего места в рядах борцов, то упорно стремятся к этому. Поиски идут различными путями. Но они идут. Подтверждение тому посещение «рядовой» негритянской молодежной организации «Хлебная корзинка», которая находится в Чикаго.

Штаб-квартира организации расположена вдалеке от фешенебельных кварталов. Машина медленно продвигается мимо прокопченных домов, распугивая расположившиеся на асфальте стайки негритянских мальчишек.

Нас встречает секретарь Чикагского отделения организации Кэй Хиксон, молодая негритянка с шапкой иссиня-черных волос. По узкой лестнице поднимаемся на третий этаж. Крохотные комнатки, что называется без всяких архитектурных излишеств. Видавший виды стол, верой и правдой послужившие людям стулья... Словом, невооруженным взглядом видно, что в «Хлебную корзинку» ничего не попадает из фондов Рокфеллера или Форда.

Кэй вместе со своей подругой, худощавой негритянкой в красном свитере, коротко рассказала о самой организации «Хлебная корзинка». Возникла она в 1968 году, как одно из экономических орудий крестьянского союза южных штатов. Цель — мирными средствами помогать негритянскому народу в его существовании. И прежде всего в борьбе с голодом. Да, голодом! «Голод был и остается проблемой», — читаю я в специальной брошюре, выпущенной организацией. И Чикаго — город, где программа борьбы с голодом особенно необходима. Одна

из задач местного отделения — обеспечить бесплатными завтраками всех детей, которые в этом нуждаются...

В южных штатах члены организации борются также за предоставление неграм самых элементарных прав: занимать место в автобусах, обедать в кафе, ресторанах. Не думайте, что это очень просто. Любое столкновение с расистами угрожает негру жизнь. Потом ищи виновных... Кроме того, члены организации проводили кампании по бойкоту магазинов, владельцы которых были наиболее яростными расистами, помогали негритянскому населению регистрироваться на выборах, что также требовало немалого мужества.

Все это способствовало росту популярности организации. В настоящее время филиалы организации, кроме Чикаго, находятся в некоторых других городах Соединенных Штатов. За счет добровольного взноса появилась возможность несколько расширить свою деятельность.

Основные акции «Хлебной корзинки» проводятся добровольцами. Достаточно сказать, что каждую субботу в Чикаго этой деятельностью занимается 3—4 тысячи молодых людей. Здесь, кстати сказать, находится самое крупное отделение, с 15 освобожденными работниками. Наша хозяйка Кэй Хиксон из своих 20 лет четыре года отдала «Хлебной корзинке».

Рассматривая проспекты организации, нельзя не поразиться ограниченности программы деятельности. Собственно, это не удивительно. Ведь и создавалось оно религиозными обществами, где еще живы идеи дяди Тома... Вот почему было интересно знать отношение членов «Хлебной корзинки» к другой радикальной организации негритянской молодежи — «Черные пантеры».

Напомним читателям, что «Черные пантеры» тоже борются за гражданские права для негритянского населения, за равноправие во всех областях общественной жизни. Логика борьбы привела их к мысли о необходимости более тесных контактов с рабочей молодежью, необходимости глубокого изучения марксизма-ленинизма. Тогда-то обрушился на них свирепый полицейский террор. Только за один год были физически истреблены 28 руководителей организации. Так, вопрос к мисс Хиксон:

— Ваше отношение к «Черным пантерам»?

— Мы знаем об этой организации. Но у нас свои методы борьбы. Мы предоставляем хлеб голодным, создаем центры питания. Вы не заметили, что в здании, где мы сейчас находимся, имеется склад продовольствия. Это все бесплатные завтраки и обеды. У нас свои методы работы.

— Возможно ли достижение конечной вашей цели в рамках существующей системы?

— Многие не верят в это. Мы — верим. И потом, если мы будем выступать против военно-промышленного комплекса, то это может привести к усилению репрессий.

В этих словах в общем-то заключается и причина определенной ограниченности действий «Хлебной корзинки». Вряд ли за ними стоит личная боязнь или страх. Дело, конечно, не в страхе. А в нечто большем — мировоззрении.

— Каково отношение организации к судебному процессу (в то время еще не были известны его результаты) над негритянкой, коммунисткой Анжелой Дэвис?

— Анжела Дэвис невиновна, — решительно заявили Кэй и ее подруга. — Основная причина ареста то, что Анжела — коммунистка. Это — яркая, умная личность. Именно таких ненавидят расисты. Мы считаем Анжелу политическим заключенным. Мы собираем деньги для ведения защиты Анжелы и ее товарищей.

— Знаете ли вы о широкой поддержке советских людей мужественной дочери американского народа? Слышали ли вы о возмущении, которое охватило всю нашу страну после злодейского убийства Мартина Кинга!

— Нет. Но мы хотели бы знать.

Что ж! Над таким вопросом стоит задуматься. Конечно, буржуазная пресса совсем не заинтересована в правдивых сообщениях о Стране Советов. А, как говорится, совсем наоборот. И все-таки подобное отсутствие информации — результат некоторой самоизоляции. Ведь именно в Чикаго был создан американский комсомол. К сожалению, такое важное событие осталось незамеченным для членов «Хлебной корзинки».

Но даже подобные организации свидетельствуют об определенном прогрессе и мировоззрении некоторой части молодежи. Отражением этого усиливающегося роста самосознания и является тот факт, что на последних президентских выборах участвовало на 12—13 миллионов юношей и девушек больше обычного. Разумеется, нельзя считать, что допуск к избирательным урнам означает допуск молодежи к участию в решении государственных задач.

В дни моего пребывания предвыборная кампания только-только разворачивалась. Более того, еще было немало времени до так называемых «политических церемоний», как называют в Америке национальные конвенты демократических и республиканских партий. Еще был далек день, когда на этих конвентах под неистовый свист публики и гром оркестра были названы имена кандидатов на высшую исполнительную власть в стране.

Тем интереснее для меня лично было знакомство с первыми шагами выборной кампании. Собственно ничего таинственного в том, как проходят выборы, уже давно нет. С точностью до цента определена даже сумма, которую надо вкладывать тем, кто хочет стать у кормила власти. И все-таки...

Прежде чем перейти к практическому изложению своих впечатлений, хотелось бы познакомить читателя с некоторыми, так сказать, теоретическими изысканиями Давида Койла, одного из идеологов американского империализма. Почему именно его? Дело в том, нам подарили одну книжку «Политическая система Соединенных Штатов». Разумеется, в этом жесте нет ничего особенного. Наши хозяева любят дарить подобные сувениры... И если я упомянул об этом, то с единственной целью показать, что книжка, как и всякий подобный подарок, апробирована.

Листаю страницы и невольно ловлю себя на мысли: где-то я все это читал или слышал. Ну конечно же! Работая над изучением особенностей американской пропаганды, я не раз и не два читал подобные формулировки в материалах радиостанции «Голоса Америки».

Надо сказать, что сложности американских пропагандистов начинаются уже с поисков различий между партиями. Уточним, что партия по Койлу «это организация для победы на выборах и овладения правительственным руководст-

вом, а возсе не для ведения какой-либо идеологической борьбы с целью утверждения одной идеологии вместо другой». В данной формулировке весьма важно признание отсутствия идеологических, а следовательно и классовых различий между буржуазными политическими течениями.

Не случайно, американцу трудно объяснить, чем именно республиканцы отличаются от демократов. Добавим, что трудности подобного рода испытывают не только американцы...

Оно и понятно, ведь «политические стратеги каждой партии, намечая «спорные вопросы» [кавычки автора книги], подбирают их так, что в результате партии отличаются настолько, насколько это возможно»... Судя по политике правящих кругов, подобные возможности не очень велики... Это не предположение, а вывод из встреч со многими политическими лидерами.

Начнем с демократов, представителей так называемой оппозиционной партии. Штаб-квартира демократической партии занимает роскошные апартаменты на берегу Потомака. «У нас здание беднее» [вот оно различие!] чуть ли не с гордостью заявили потом республиканцы.

Мистер О'Брайен — один из руководящих деятелей демократической партии. Он любезно провел нас по многочисленным комнатам, заставленным телетайпами, компьютерами, телефонами, копировальными машинами. Десятки сотрудников центра уже трудились, что называется в поте лица. Что ж! Оно и не удивительно. Жаркие дни наступают для тех, кто «делает» выборы.

Мистер О'Брайен любезно ответил на несколько вопросов. Прежде всего он дал, и надо признать, довольно справедливую характеристику действиям демократов.

— Наша партия, — сказал он, — отошла от Белого дома. Но мы — партия лояльной оппозиции.

Вспомним в связи с этим заявление о «спорных вопросах» между демократами и республиканцами.

— Каковы планы демократов?

— С целью реорганизации партии мы провели 17 заседаний, опросили сотни политических деятелей, — рассказывает О'Брайен. — Было выработано 18 линий, которых необходимо придерживаться выборщикам на национальном конвенте.

— Видимо, все это стоит немалых денег!

— Политическая процедура — вещь дорогая, — соглашается О'Брайен. — Бюджет партии покрывается частными взносами. Сейчас мы имеем долг в размере 9,5 миллиона долларов.

Здесь необходимо сделать некоторое отступление. Ведь кто платит — тот и заказывает музыку.

Вернемся к Койлу, который справедливо подчеркивает, что люди, дающие крупные пожертвования в партийные кассы, «скорее предпочитают давать из своего кармана все, что требуется на партийные расходы, чем видеть партии независимыми от их помощи».

Обычно в вестибюле помещений, которые снимали демократы для «товарищеских» ужинов по сбору средств, устанавливается щит, на котором рядом с громадным вопросом располагаются фотографии «сильных» личностей. Кто из них станет претендентом на пост президента от демократической партии? Кто!

Вот знакомые лица Хемффи, Эдварда Кеннеди. А вот и малоизвестный пока, но энергичный Бэй. Будучи в Вашингтоне, мне пришлось побывать и в штаб-квартире мистера Бэя, которая тоже уже заработала на всю катушку.

Давайте познакомимся с ним. Мистер Берч Бэй, сенатор от штата Индиана. Адвокат. Он недоволен войной во Вьетнаме. Совершил вояж на Средний Восток, во время которого встречался с премьер-министром Израиля Г. Меир, причем в ее резиденции в Иерусалиме... Энергичен. Для кандидата достаточно молод — всего пятый десяток. Не миллионер.

Итак, один из «рядовых» на пост президента. Резиденция мистера Бэя чем-то в миниатюре напоминает штаб-квартиру демократической партии. Компьютеры, копировальные машины, специальный центр коммуникаций. Любая редакция, набрав номер, может мгновенно получить все необходимые сведения о действиях кандидата...

Свои заметки мне хотелось завершить небольшим репортажем из учреждения, не имеющего на первый взгляд отношения к молодежному движению, но в котором, как в капле воды, отражается лихорадочно-напряженная атмосфера всей страны.

Знаете, какая самая тихая улица в Нью-Йорке? Уолл-стрит! О! Ей далеко до бушующего огнями Бродвея, respectableного 5 авеню или «развеселой» 42-стрит. Здесь не увидишь ни безработных, ночующих в подворотнях, ни магазинчиков, украсивших свои витрины порнографией. Закон и порядок! И это массивное с тяжеловесными гранитными колоннами здание не бросается в глаза приезжему туристу. Оно явно не стремится оспаривать лавры у самого высокого небоскреба — Эмпайр Стэйт Билдинг. Но именно здесь мы должны провести сегодня несколько часов. Именно здесь расположена Нью-Йоркская фондовая биржа — крупнейшая в капиталистическом мире. Нередки дни, когда из рук в руки переходят ценные бумаги стоимостью в четверть миллиарда долларов, 250 миллионов! Мы поднимаемся по лестнице, увенчанной громадными колоннами. Дюжие полисмены в специальной форме предлагают нам оставить фотоаппараты в вестибюле. Нельзя беспокоить «людей дела». А перед выходом на галерею для посетителей, нас еще раз предупредили: «Разговаривать нельзя. Тише!» И бдительный страж устроился за нашей спиной...

Молча стоим на галерее. А внизу, в обширном зале бурлят страсти. Сотни, чет, тысячи маклеров, финансистов всех мастей и рангов, любителей ловить рыбку в мутной воде, словно муравьи куда-то разбегались, затем собирались группами, снова разбегались. Черные фраки, белые манишки сливались в сплошные, кидаящиеся в разные стороны линии.

В зале стоял невообразимый шум и гвалт. «Делающим деньги» разрешалось кричать во всю глотку. Здесь они в своей стихии!

Сердце биржи — операционный зал в половину футбольного поля. 11 больших круглых оград вмещают в себя операционные центры с их служащими. Широкие проходы дают возможность маклерам получать легкий доступ к этим торговым постам. Действовать им приходится поистине на космических скоростях, ведь оборот нередко достигает 10 и более миллионов акций в день.

Сама биржа, по утверждению буржуазной пропаганды, является величайшим народным рынком. Почему народным! Да потому, что здесь люди легко (!) могут покупать и продавать ценные бумаги.

10 часов утра. На трибуне у южной стороны раздался удар гонга. Бешеная погоня за деньгами началась. Она теперь остановится только после обеда, точно в 3.30 минут. Сигналом послужит громкий звонок.

Какова система приобретения акций?

Непосредственная продажа и покупка акций совершается брокером, который принимает заказ от своего служащего и несет его в торговый центр.

Одну из тысячи ценных бумаг просматривает член биржи, находящийся на паркетe, так называемый специалист. Это заметная фигура в аукционной системе торговли на рынке, которая выделяется как своими обязанностями, так и своим мундиром. «По идее» специалист покупает, когда другие продают, и продает, когда другие покупают. Но делает он только тогда, когда возникает неравновесие между спросом и предложением. Иными словами, специалист должен обеспечивать так называемый «равномерный рынок». Специалисту помогают десятки ассистентов: мужчины в каштановых костюмах и женщины в черных кителях.

Но вот сделка состоялась. Человек в синем кителе — репортер — регистрирует продажу и передает о ней данные человеку в сером пиджаке — заведующему данными. Заведующий данными помимо данных заведует и электронной клавиатурой. Через несколько секунд мгновенный сигнал о продаже летит через национальную высокоскоростную сеть, передающую его в 2000 тикеров и 400000 настольных электронных пультов в 400 городах США и других капиталистических странах.

Тикер имеется и в самой бирже. Это большой экран, по которому бегут буквы цен со скоростью 900 букв в минуту. Только такая скорость может оперативно справиться с данными рынка. Бизнесмены вполне успевают справиться с калейдоскопическим мельканием букв.

Ежедневно утром, ежечасно и при закрытии биржи лента тикера регистрирует индекс цен американской биржи. Автоматические панели с данными о ценных бумагах возвышаются и над серединой каждого торгового поста.

На специальной световой ленте бегут со страшной скоростью цифры, сообщающие биржевые новости. Наметанные глаза бизнесменов улавливают молниеносно. Мелькают знакомые кампании: «Сатндарт Ойл», «Галф», «Дженерал-моторс».

Вот в одном углу раздается свист, затем дружный вопль восторга и отчаяния. Что там произошло! Может быть, кто-то удачно купил акции компании, сосущих нефть Ближнего Востока или владеющих урановыми рудниками Конго! Может быть, «счастливики» сорвали солидные дивиденды!

Впрочем, никто из присутствующих в зале не обратил внимания на разгоревшиеся страсти. Обычная история! Электрочасы отсчитывали время с точностью до секунды. Время — деньги! По-прежнему кипел человеческий водоворот. Слева на огромном щите, разделенном на квадратики, то и дело вспыхивают вызовы. Шустрые финансовые лакеи бросаются со всех ног выпол-

нять приказы денежных тузов. Гонка за золотым тельцом продолжается...

И так проходит час, другой, третий... В кишашей толпе, мы не увидим крупных финансистов. Но, конечно, представители ведущих компаний являются членами биржи.

Не каждый может занимать эту должность, иными словами, вершить финансовые дела. Путь в «высшее общество» усеян не розами и лилиями... Членами биржи являются 1366 бизнесменов. Это элита финансовой олигархии. 1366... Ни больше, ни меньше. Здесь, конечно, собираются самые отборные деятели бизнеса. Крепко держатся они за место под солнцем. Но бывает, что кое-кому приходится потесниться, уступить

свое место более «достойным»... за определенную мзду, конечно. Последнее свободное место на бирже было продано несколько лет назад за «скромную» сумму — всего 199 тысяч долларов.

Время перевалило за три часа дня. Пора к выходу. Ровно в половине четвертого биржа закрывается. «Рабочий день» подходит к концу. А завтра все начнется сначала.

Мы проходим по вестибюлю к выходу. На одной из стен администрация биржи устроила небольшую выставку акций «давно минувших дней» и «века нынешнего». Красные, зеленые, голубые... Они еще раз напоминают нам о черных делах, осененных долларом.

Борис ЮДАЛЕВИЧ

„ДА“ ПЛЮС „НЕТ“ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

Василий Шукшин — художник разностороннего таланта. Он известный режиссер и актер, лауреат Государственной премии и международных кинофестивалей. Не менее плодотворна и его литературная работа. В. Шукшин — автор романов, повестей, киносценариев.¹ Но главным жанром для него, как писателя, стал рассказ, с которого он и начал путь в литературу, завоевав сегодня прочную репутацию мастера новеллы.²

С первой же книги³ и на протяжении всех последующих лет творчество новеллиста находится в центре внимания исследователей современного литературного процесса, в частности проблем «деревенской прозы». Пожалуй, сейчас трудно назвать статью о прозе последних лет, где бы не учитывался опыт Шукшина, что, впрочем, ни в какой мере не застраховывает его творчество от весьма разноречивых и подчас полярных оценок. Более того, острота критических дискуссий, противоречивость выводов усиливаются по мере вы-

хода в свет новых сборников рассказов.

«Сельские жители» появились в ту пору, когда в зените была так называемая молодежная исповедальная проза. Ее герой, надежно укоренившийся на страницах литературных журналов, нес в себе мощный заряд урбанизма. Вращенный на асфальте, он, правда, зачастую покидал родные пенаты, чтобы совершить путешествие на далекую сибирскую стройку или в глухое село, зафрахтоваться на рыболовецкий сейнер или геологическую партию. Но все эти искания, как правило, оставались пронизанными тоской о своем городском доме, дворике-«колодце», вечерах в кафе, наконец, просто прогулках по скверам и площадям, где все вокруг наполнено особым значением и смыслом.

Этой «исповедальной» прозе были присущи не только излюбленные герои, но особая поэтика, особый словарь, обильно впитавший городское арго. Поэтому даже само название «Сельские жители» в

то время звучало несколько полемически.

Критика тех лет не сопоставляла В. Шукшина, как, впрочем, и других появившихся уже новых писателей-«деревенщиков», с В. Аксеновым, либо иными лидерами «молодой прозы». Между тем, с сегодняшних позиций понятно, что такое сопоставление могло бы навести на раздумья о возникновении в литературе новой волны. Первая книга В. Шук-

волны. Первая книга В. Шукшина получила много откликов. В кратком «Об авторе», предисланном ей, говорилось: «...в литературу вступает человек со своим взглядом на события и на людей, со своей манерой письма... он обладает талантом большой грусти, теплого юмора и человечности».⁴

Писатель Михаил Алексеев отмечал: «Сердце же Василия Шукшина принадлежит сельским жителям. О них пишет он талантливо. И даже — очень талантливо!»⁵

«Прочная основа» — озаглавила свою рецензию критик Э. Кузьмина, тем самым подчеркивая, что первоосновой творчества молодого прозаика явилось глубокое знание деревни, реальных людей, а не «сусальных пейзажей».

Самобытным тонким художником называет Василия Шукшина критик В. Софронова.

Но даже и в этом «хоре похвал» обнаруживаются противоречия, проскальзывают диссонирующие нотки.

Так, в цитированном уже «Об авторе» утверждается, что Шукшин «идет по главной дороге жизни и литературы», а в рецензии В. Софроновой говорится, что раздумья писателя о лучшей жизни «почему-то не связываются с их мыслями о самом герое, его месте в этом преобразовании. Связи писателя субъективные качества героев с их объективной

¹ Статья посвящена Шукшину-рассказчику и не ставит целью анализ его киносценарийных произведений, а также повести «Там, вдали», романов «Любовины», «Я пришел дать вам волю». Опыт Шукшина-рассказчика оцущим в его повести и романах. Однако, несомненно, прав В. Чалмаев, отметивший, что романы Шукшина «не достигают духовной напряженности новелл» («Север», 1972, № 10). Любопытно и мнение критика Г. Бровмана: «Полагаю, что способности В. Шукшина — режиссера, актера, сценариста — может быть с наибольшей полнотой скажутся в его новеллистическом творчестве» («Наш современник», 1968, № 7, стр. 110).

² В данной статье термины «новелла» и «рассказ» употребляются как идентичные.

³ В. Шукшин. «Сельские жители». М., «Молодая гвардия», 1963, стр. 190.

⁴ Андреев. Об авторе. В кн.: В. Шукшин. Сельские жители, стр. 3.

⁵ М. Алексеев. Однополчане, М. «Сов. Россия». 1967 г., стр. 232—233.

ролю в жизни, соотнеси их талант, силу, смелость с этой их миссией на земле — и строже, требовательнее, мудрее стала бы его щедрая любовь к ним, богаче, действеннее стал бы дар писателя большой талантливой души».¹

Были расхождения и в оценке отдельных новелл. Но в целом, как уже говорилось, критика отметила приход в литературу нового талантливого рассказчика.

А Шукшин, как бы оправдывая надежды доброжелатель критики, публикует новые циклы рассказов, издает новые сборники.² Растет его известность, много тому способствуют и создаваемые по мотивам собственных рассказов кинофильмы («Живет такой парень», «Ваш сын и брат», «Странные люди»).

Растет и критический «обоз», следующий за его новеллистикой. Только теперь он становится явно разноречивым, сочетая в себе подчас диаметрально противоположные мнения, оценки и выводы. Это явление связано с ростом и эволюцией писателя, но, безусловно, отражает и сложную природу его творчества, которая была не замечена раньше.

Споры вызывает даже такой казавшийся при появлении первого сборника В. Шукшина непреложный факт, как приверженность писателя к сельской тематике.

Критик В. Ковский, в духе первых рецензентов В. Шукшина, считает, что назвавшем «Сельские жители» «...автор словно обозначал постоянное содержание и «демографию» своего творчества».³

Это никак нельзя совместить с категорическим суждением В. Чалмаева, высказанным недавно в развернутой

статье о В. Шукшине: «Трудно зачислить его и в «деревенщички» и в «урбанисты», а тем более обвинить в недавно еще модном противопоставлении деревни городу».⁴

Но, между прочим, не только зачисляли, как мы уже видели, но и обвиняли. Например, известный исследователь «деревенской» прозы В. Сурганов утверждал, что в произведениях В. Шукшина, также, как и Носова, Белова, Распутина и других прозаиков новой деревенской волны, «повсюду так или иначе современный город противопоставлен деревне, как бездуховная, эгоистическая, безликая сила, воплощение потребительского начала — началу искони творческому и трудовому».⁵

Впрочем, при анализе современной прозы критики не раз ломали копыя по поводу того, причислять ли имярек к «деревенщичкам» либо не считать таковым. И это отнюдь не простой спор. Вопрос об отношении к деревне подчас чуть ли не отождествлялся с такими кардинальными понятиями, как национальная самобытность, народность художника, и даже степень художественного мастерства.⁶

Но если и отбросить эти крайности и издержки, то все же нельзя не отметить, что вопрос об отношении Шукшина к деревне и городу проистекает из стремления оценить его творчество в целом.

И здесь на передний план выходят острые споры о социальном лице, типических чертах, духовных исканиях шукшинского героя.

Из критических статей об одних и тех же героях Шукшина можно узнать, что они «обладают чувством собственного достоинства», вырастаю-

щим из понимания своей созидательной роли на земле,⁷ и что они же «или муромцы, не разбуженные, не знающие толком, чего они хотят и на что способны».⁸ Что они «ищут, не боясь вихря, тревоги, бури»⁹ и что в рассказах Шукшина «идиллии из всех сил гримируются под драмы», что распространившейся сейчас модой (вплоть до архангельских прялок и вологодских кружевных затей) объясняется... успех Василия Шукшина, успех преждевременный и преувеличенный, а также та легкость, с какой В. Шукшин, «преображая» действительность, творит свои «жизнеподобные мифы».¹⁰

Эти противоборствующие, зачастую взаимоисключающие мнения о привязанностях писателя, его позиции, его значении проецируют на различные компоненты его мастерства, порождая адекватные взгляды на его художественную манеру. Хотя следует сразу оговориться, что в критической периодике анализ жанровых и стилевых особенностей рассказов Шукшина чаще всего носил «служебный» характер и, по существу, лишь намечен.

Попробуем, опираясь на разнородный, но значительный критический багаж, сопутствующий работе писателя, разобратся в сложной природе его творчества, проследить его художественную эволюцию, выявить тенденции, которые определяют его литературный путь.

Вновь обратимся к первому сборнику Василия Шукшина «Сельские жители». Рассмотрим один из характерных рассказов, давший название книге. В «Сельских жителях» бабка Маланья собирается лететь в Москву, в гости к сыну, Герю Советского Союза. «Бы-

¹ «Знамя», 1964, № 1, стр. 275.

² В. Шукшин. Там, вдали. М., «Сов. писатель», 1968, стр. 343; В. Шукшин. Земляки. М. «Сов. Россия», 1970, стр. 207.

³ В. Ковский. Жизнь и стиль. В кн.: «Жанрово-стилевые искания современной советской прозы». М. 1971, стр. 275.

⁴ В. Чалмаев. Порыв ветра. (Молодые герои и новеллистическое искусство Вас. Шукшина). «Север», 1972, № 10, стр. 117.

⁵ В. Сурганов. Идущим дальше. (Заметки о книгах писателей-«деревенщиков»). «Вопросы литературы», 1971, № 8, стр. 23.

⁶ См. об этом статью Ю. Суровцева «О национальной самобытности и «фантастически вычурной любви к ней». «Литературное обозрение», 1973, № 2, стр. 60—70.

⁷ В. Ковский. Указ. соч., стр. 276.

⁸ И. Гринберг. Широкое дыхание рассказа. «Нева», 1968, № 8, стр. 161.

⁹ В. Чалмаев. Указ. соч., стр. 120.

¹⁰ А. Марченко. Из книжного рая... «Вопросы литературы», 1969, № 4, стр. 71 и 65.

валый» человек, школьный завхоз, вдохновляясь бабкиной брагой, так живописует перелет до столицы, что становится «шибко уж страшно».

Маланья решает отложить поездку до лета. Правда, внук ее Шурка сомневается: «Тут огород пойдет, — пишет он в Москву своему дяде, Герою, — свинота разная, куры, гуси — она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще».¹

Иной художник, пожалуй, даже не возьмется воссоздавать такую историю. Уж очень она прозаична и банальна. Шукшин на этом материале создал рассказ, которому нельзя отказать ни в художественной глубине, ни в социальной значимости. И здесь проявилось особое зрение рассказчика — в житейской, подчас курьезной, анекдотичной, ситуации он видит второй план, следит за отпочкованием от этой ситуации серьезных начал, а почувствовав все это, поднимает ее до художественного обобщения.

Главное в рассказе «Сельские жители» — это контраст между бытом людей глубинной сибирской деревни и ритмами современной жизни. Этот контраст налагает свой отпечаток на облик каждого из немногочисленных персонажей рассказа.

На первый взгляд кажется, что Шукшин излишне увлечен деталями быта — вот-вот растворится в них. Но, напротив, вскоре убеждаешься, что молодой прозаик очень целеустремлен, расчетлив и экономен. Вот, например, один из начальных эпизодов рассказа, в котором бабка Маланья диктует Шурке телеграмму. Можно подумать, что это вставной эпизод, как будто необязательный для развития рассказа. Но именно здесь автор намечает существенное различие миров бабки и ее внука.

— «Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет...»

— Привет! — сказал Шурка. — Кто же так телеграммы пишет?

— А как надо, по-твоему?

— «Приедем». Точка. Или так: «Приедем после Нового года». Точка. Подпись: «Мама». Все.

Бабка даже обиделась».

Дальше это различие, это столкновение века минувшего и нынешнего все более усугубляется и обостряется.

И литературное умение Шукшина сказало в том, что в орбиту этих взаимоотношений бабки и внука подключена еще одна фигура, не менее колоритная и по своему мироощущению стоящая где-то посередине между этими двумя персонажами. Это их гость — школьный завхоз.

В рассказе выявились и другие черты поэтики Василия Шукшина. Прежде всего — это пристрастие к диалогу, установка на него как на одно из универсальных художественных средств. В «Сельских жителях» диалог даже количественно составляет девять десятых текста. А функции его весьма многогранны. Он образителен и дает читателю возможность почувствовать характер героя, ощутить его облик, составить себе представление о его внешности. Наконец, диалог движет сюжет и фабулу произведения, так как в нем проявляется развитие характеров и событий.

Легко проделать показательный эксперимент — оставить в рассказе «Сельские жители» один диалог. Конечно, рассказ кое-что потеряет, но и в таком виде перед нами пройдут и характеры и события, связанные с ними.

Таким образом, рассказ В. Шукшина сближается с драматическим произведением. Причем в его диалогах ощутима связь с киностилистикой. На наш взгляд, эта связь состоит не только в том, что у Шукшина, как и в кино, диалог — крупный план повествования, но и в том, что по своей структуре его диалоги близки к монтажу, построены на переплетении и развитии нескольких параллельных тем, то контрастных по содержанию, то дополняющих друг друга.

Как уже говорилось, Шукшин пришел в литературу в пору расцвета «молодой прозы».

В системе изобразительных средств прозаиков «четвертого поколения» диалог занимает весьма почетное место. И более того, исследователь В. Одинцов считает, что диалог повести у авторов молодежной прозы «характеризуют своеобразные способы взаимодействия реплик, неожиданные переходы и контрастные сопоставления».²

Поэтому несостоятельными выглядят попытки иных критиков, которые в стремлении подчеркнуть колоритность Шукшина, обособленность и новаторство прозаиков новой волны, отрывают его творческую практику от стилевых исканий прозы шестидесятых годов.

Как уже говорилось, в основе рассказа «Сельские жители» лежит юмористическая коллизия. Но и вся новелла пронизана особым юмором, который впоследствии критика назовет «шукшинским». Это не только юмор ситуаций, который кроется как раз там, где происходит «стыковка» старого быта, патриархального уклада и норм сегодняшней жизни. Импонирующий теплотой, мягкостью, грустинкой юмор ощущается и в интонации повествования, языковой структуре, искусстве поставить слово в самых неожиданных лексических сочетаниях, смешении различной лексики в речи героев и т. д.

Нельзя было не увидеть в этом рассказе и приверженности В. Шукшина к родным алтайским местам, прикатунской глубинной деревне, характерам своих земляков.

Ведь недаром устами одного из своих героев Шукшин говорит: «Жизнь — это, брат, тоже школа, только лучше».

Писатель имеет право на такую декларацию: за его плечами богатый, разнообразный жизненный опыт. В. Шукшин вырос в алтайском селе Сростки. Подростком, в суровое военное время, немало «потанцевал» за плугом, овладел многими сельскими специальностями. Работал слесарем-такелажником, служил на боевом эсминце. После демобилизации преподавал в школе...

¹ Тексты рассказов здесь и далее цитируются по книге «Сельские жители».

² В. Одинцов. Наблюдения над диалогом в «молодежной повести». В кн.: «Вопросы языка современной русской литературы». М., «Наука», 1971, стр. 164.

Рассказ «Далекие зимние вечера» окрашен воспоминаниями. Это — военное детство. Здесь ранняя самостоятельность мальчика, живого, шаловливого, но умеющего уже разделить со своей матерью и многочисленными тревоги суровой поры, и заботы о хлебе насущном.

Однако, несмотря на очевидную автобиографичность, рассказ в меньшей степени выделяет шукшинское своеобразие. И идейно, да во многом и по манере письма, он в русле целой литературы о детских годах сельского мальчика. В частности, напоминает «Последний поклон» Виктора Астафьева.

«Демагоги» — рассказ, близкий к «Сельским жителям» по расстановке действующих лиц. В центре — дед и внук. В нем вроде бы не нашли отражения большие проблемы, но есть поэтизация сельского быта, любовование могучей сибирской природой. Все это раскрыто через несложную фабулу, в основе которой один день, проведенный дедом и внуком на рыбалке. Рассказ «Светлые души» также отличается несложная коллизия. Шофер, неделю пробывший в рейсе, возвращается домой — вот, по существу, все внешние события рассказа. Но в нем удивительно светло воссоздана и поглощающая любовь шофера к своему делу, и трогательная атмосфера в семье сельских молодых людей. Эти рассказы характеризуют автора как певца сельских жителей.

Но обретение художником своей темы, постижение нравственного мира нашего современника — процесс сложный. И отдельные рассказы из сборника «Сельские жители» являют, к сожалению, не только победы автора на этом пути.

На берегу Катуня молодая художница встречает колоритного старика («Солнце, старик и девушка»). Городская девушка, зачарованная красотой, силой сибирского кряжистого дедушки, начинает писать портрет. Однако многое в этом своеобразном натурщике остается непонятным ей. И даже то, что, в чем художница убедилась после смерти старика, он был слепым. Рассказ от начала и до конца кажется надуманным. В нем слишком проявилось ученическое подражание мастерам лирической прозы.

Примечательно, что в этой повелле не работают испытанные шукшинские приемы письма, в том числе и диалог: он бесцветен, лишен подтекста, «кинематографической» конфликтности и стремительности.

Мало своеобразия, художественной убедительности и в рассказах «Экзамен», «Леля Селезнева с факультета журналистики», «Правда». Персонажи — склонного к наивному философствованию кабинетного профессора, восторженной дебютантки-журналистки и правдивого, однолинейного руководителя — знакомы нам по многим образцам искусства и литературы. Конечно, талант художника, яркость и точность отдельных деталей подчас заставляют забывать об этой литературной вторичности.

Есть в сборнике «Сельские жители» целый цикл рассказов, в которых наметились тенденции, получившие в дальнейшем самое широкое развитие в творчестве Шукшина. Это рассказы о деревенских молодых людях. Недаром принесший Шукшину известность фильм называется «Живет такой парень». Это название могло бы объединить многие его рассказы: «Гринька Малюгин», «Классный водитель», «Артист Федор Грай», «Стенька Разин», «Степкин любовь».

Парням трудно чем-либо особенно похвалиться. Они не «физики», ни «клирики». Более того, эти ребята по различным обстоятельствам в свое время бросили школу. Правда, селу без них не обойтись. Они шоферы, плотники, кузнецы. Но слава о многих в округе часто отнюдь не положительная: одни — выпивохи, драчуны, другие — вообще с непонятными странностями, с «придурью».

«Гринька, по общему мнению односельчан, был человек недоразвитый, «придурковатый». С этой фразы начинается рассказ «Гринька Малюгин». И, как бы оправдывая мнения земляков, Гринька действительно любит прихвастнуть, покуражиться, поразить бесшабашностью. Но вот на бензохранилище, куда он приехал за горючим, происходит пожар. И Малюгин, один из стоящих в длинной очереди, решает предотвратить взрыв, отвести горящую машину.

По аналогии со многими рассказами молодых авторов можно было бы предположить,

что перед нами очередная история о том, как окружающие не сумели подметить главного в характере героя, проглядели лебедя в гадком утенке. Но характер Гриньки гораздо сложнее. И, свершив настоящий подвиг, он не обретает хрестоматийного глянца. В больничной палате, где Малюгин оказался после пожара, он выдает себя ни больше ни меньше как... за космонавта. «Долетел до половины, и горючего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал — неточно приземлился».

Становится понятным, что и «придурь», и склонность к нелепым мистификациям — все это явления одного порядка, все это идет от нерастрченных сил. Но силы эти ищут выхода в чем-то значительном, нужном людям, стихийно альтруистическом. Порукой этому — широта, душевная щедрость, полное бескорыстие Гриньки Малюгина. Отсюда и достоверность как будто неожиданного для Гриньки поступка на пожаре.

Любопытно, что именно среди этих парней Шукшин находит тех, кому дорого и даже свято искусство, в ком живет озарение творчества. Кузнец Федор Грай («Артист Федор Грай»), участник художественной самодеятельности, остро чувствует фальшь ремесленных поделок, выдаваемых за драмы из жизни современного села. Разругавшись с режиссером, Федор на межрайонном смотре художественной самодеятельности произносит импровизированный монолог. Страстности, а главное, жизненной правде этого монолога, вероятно, позавидовал бы иной маститый драматург.

Та же беззаветная любовь к творчеству, тяга к его первооснове, доходящая до наивного стирания граней между жизнью и искусством, отличает скульптора-самоучку Васёку из рассказа «Стенька Разин».

Воссоздание этих характеров, странных, чудаковатых, но самобытных и талантливых, ищущих выхода своим нерастрченными силами, нашло отражение и в поэтике Шукшина.

Фабульной основой его рассказов по-прежнему служит какой-либо случай, происшествие. Но теперь этот случай носит более экстраординарную окраску, подстать проявляющейся через него натуре геро-

ев. И события в этом цикле рассказов развиваются более стремительно. Так, например, жизненных перипетий, составляющих основу рассказа «Степкина любовь», — влюбленность, соперничество, муки безответной любви, решительное сватовство, согласие невесты — всего этого, сконцентрированного Шукшиным на нескольких страницах, с лихвой хватало бы на повесть или сюжетную линию романа.

И в языке цикла этих рассказов можно заметить некоторые особенности. Писатель по-прежнему дорожит речью коренных сельских жителей, деревенских старожил, но наряду с этим его стилистике и словарю присущи новые напластования, запечатлевшие громадные социально-экономические и культурные перемены в современной деревне.¹

Вот, например, речь колхозного механика Сени Громова из рассказа «Коленчатые валы». «П-п-прорыв... Два наших охломона залили в машины грязное масло... И, главное, у-у-убеждают, что это не их дело — масло п-п-проверить!», «Я на тебя в «Крокодил» напишу, зараза! Пе-пе-пережиток! Гад подколодный!».

А вот как объясняется класный водитель Пашка Холманский: «Предлагаю на тур вальса», «Посмотрим, кто кого сфотографирует», «Ваша не пляшет», «Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы», «Побеседуем как желтмены».

В галерее шукшинских парней несколько особняка стоит цирковой борец Игнаха («Игнаха приехал»). В городе у Игнахи просторная квартира, друзья, аплодисменты восторженных зрителей. Он уверен, что приезд в родную деревню станет продолжением городского триумфа. Но преуспевающий сын вызывает у старика Байкалова все нарастающее раздражение. И это как будто легко объяснимо: Игнаха нечуток, излишне самонадеян, хвастлив, заносчив.

Но рассказ Шукшина не просто о приезде неудачного сына к отцу, не просто о том, что в семье не без урод.

Безусловно, он гораздо глубже. В нем намечаются большие, очень современные проблемы: отрыв от родных сельских мест, влияние города.

Правда, в рассказе В. Шукшин нигде не определяет свою позицию от лица автора или рассказчика, да и в самой художественной ткани эта позиция обнаруживается очень тонко, неназойливо. Тем не менее ее все-таки нетрудно уловить. Она прежде всего сказывается в авторском отношении к Игнахе. Его явно подпортили те верхушки городской цивилизации, какие довелось ему перенять. Эта позиция и в стремлении самобытного мудрого старика Байкалова противопоставить наглости и самодовольству преуспевающего горожанина цельность и скромность другого своего сына — земледельца.

Как будто мы отметили основные идейные и стилевые тенденции, которые отличали первый сборник рассказов Василия Шукшина. И теперь, через годы, нельзя не признать, что критика чутко и прозорливо заметила появление нового таланта. Остается только ответить на вопрос: правомерным ли было утверждение, что молодой прозаик шел «по главной линии жизни и литературы», или действительно писатель не смог связать субъективные качества своих героев с их объективной созидательной ролью в жизни?

Хорошо было бы безоговорочно согласиться с кем-либо из критиков или, как это часто делается, заявить, что истина лежит где-то посередине. Но, видимо, лучше всего ответить на эти вопросы, проследив, какими путями пойдет развитие многообещающего художника.

В новых рассказах прозаика на первом плане оказались мотивы раздумий над смыслом жизни. Казалось бы, шукшинским героям — людям цельным и сильным, подчас приверженным к патриархальному укладу, — не свойственно мучиться неразрешенными проблемами.

Но вот снова сибирская деревня. Гармонь влюбленного парня будит по ночам колхозного председателя Матвея Рязанцева («Думы»). Председа-

тель возмущается и даже грозит выгнать парня из колхоза. Однако гармонь будоражит бесконечные воспоминания Рязанцева, а с ними приходят какие-то незнакомые мысли и чувства. Однажды в пору таких ночных раздумий он будит жену, чтобы задать ей странный для людей, далеко не молодых, проживших много лет вместе, вопрос: «У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь. Неважно». И чуть позже поясняет: «Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня... как-то... заворшилось. Вроде хвори чего-то».²

Хворь знакома и героям рассказов «Два письма», «Заревой дождь», «Залетный», «Случай в ресторане» и других.

Этих героев, охваченных душевным беспокойством, Василий Шукшин рисует отнюдь не с пессимистических позиций. Напротив, здесь хочется подчеркнуть плодотворный поиск писателя, творчество которого становится зреее, отражая сложность и многообразие реальных явлений, диалектику души.

С особым мастерством Шукшин воссоздает мир людей пожилого возраста, их мужество и мудрость в преддверии заката, в пору трезвых оценок и переоценок жизненных ценностей. И как неповторим мир каждого из этих людей, так неповторимы эти их искания и томления.

Порой в подобных рассказах у Василия Шукшина возникает драма неправильно прожитой жизни. Это драма бывшего кулака Кирьки, чья жизнь прошла на отшибе от людей, в злобе, стяжательстве.

Отголоски жизненной драмы, но не носящей социальной окраски, а глубоко личной, слышатся и в рассказах «Залетный», «Случай в ресторане».

Наконец, вновь и вновь возвращаясь к темам раздумий пожилого человека над длинной жизненной дорогой, Василий Шукшин создает рассказ «Земляки», давший название его третьему сборнику. В нем прозаик прибегает к нечастым в его творчестве авторским отступлениям. «Стариков-

¹ Не случайно В. Л. Канторович назвал свою статью о прозе В. Шукшина «Новые типы, новый словарь, новые отношения». (Литература и современность. Сб. № 11, М., 1972, стр. 336—349).

² Тексты рассказов здесь и далее цитируются по книгам «Там, вдали», «Земляки».

ское дело — спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею и ушел.

И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих».

Какие же новые черты обрела поэтесса В. Шукшина в этом цикле рассказов?

По-прежнему в основе фабулы лежит случай. Недаром один из рассказов так и назван — «Случай в ресторане». Только теперь это подчас не просто житейский, иногда курьезный случай, какие превалировали в «Сельских жителях». Сейчас это порой редкостный драматический случай, несущий в себе черты суровой народной бывальщины.

Такова коллизия тех же «Земляков». Почувствовав приближение кончины, приезжает в сельские места старик совершенно городского облика. Он навещает в поле родного брата, но брат не узнает его — и гость не открывает себя.

Элементы подобной фабульной структуры есть и в напряженной встрече двух стариков в рассказе «Заревой дождь», и в описании последних дней художника в рассказе «Залетный».

Лирический настрой отличает ряд рассказов первого сборника В. Шукшина, в частности «Светлые души», «Стенька Разин», «Демагоги» и другие. В анализируемых новеллах, где постоянны мотивы воспоминаний, приходящих с возрастом откровений, обостренного видения неповторимости событий, прелести окружающего — эта черта шукшинского таланта обретает еще большие права.

Лирический настрой в этих произведениях подчас оказывается настолько сильным, что влияет на самый ритм прозы, приближая его к поэтическому, а некоторые куски повествования напоминают стихотворения в прозе.

Но и в этих рассказах лирическое начало прекрасно сосуществует с юмором. Зачастую это по-прежнему юмор ситуаций: подвыпивший старый интеллигент сожалеет о

«бездарно прожитых» годах, решает немедленно «сломать биографию», уехать в Сибирь вслед за своим кумиром — лесорубом саженного роста с пудовыми кулаками («Случай в ресторане»).

Подобный юмор присутствует даже в таком рассказе как «Думы», самое название которого подчеркивает его лирическую суть. Здесь он в столкновении рьяного жениха с Рязанцевым и другими сельчанами. «Имею право. За это никакой статьи нет».

Шукшин познакомил нас с галереей людей, размышляющих над пережитым, болеющих непонятной, томительной, но желанной хворью.

Однако хворь эта знакома не только людям преклонного возраста. Она пристает и к шукшинским парням, бесшабашным и лихим, каким, казалось бы, «море по колено».

«А правда ведь не знаю, зачем живу», — с тревогой и болью говорит герой рассказа «В профиль и анфас», которого его собеседник — деревенский старик — называет «баламутом».

Конечно, у Ивана свои поводы для бессонных раздумий. Ведь «баламут», несмотря на то, что он владеет несколькими профессиями, не раз оказывался без работы, от него ушла жена, молодая красивая «кыса» ушла с маленькой дочкой. Однако, очевидно, парня тревожат не только все эти беды. «Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму!»

Рассказ о нескладной судьбе этого парня привлек к себе внимание критики.

Критик В. Чалмаев увидел в этом рассказе отражение «самого начала обновления деревни, приход в нее новой техники, новых ритмов труда и жизни». Отсюда у героя «ощущение несовместимости его душевного голода и бывшего деревенского покоя».¹

Возникает законное недоумение. Время действия рассказа — наши дни. Но при чем же тогда «начало обновления деревни»? Прав критик в другом: натура Ивана не приемлет «былой деревенский покой». Но ведь покой этот давно нарушен, и сверстники Ивана без

всяких драм нашли себя в новых ритмах деревни. Почему же этого не случилось с Иваном? Очевидно, здесь есть индивидуальные причины, корящиеся в характере героя.

Критик Г. Бровман полагает, что Иван стиснут и загнан «обстоятельствами, которые в общем им же порождены».² Более того, по его мнению, из финала рассказа очевидно, что «в оторванности от людей, в разрушенных с ними связях, в одиночестве, кажется, Ивану будет легче жить».

Однако Иван не ищет одиночества. И его реплика «Нет, надо на свете одному жить. Тогда легче будет» вызвана нестерпимой болью расставания с матерью, с родными местами, тем более, что впереди его снова ждет неустроенность, неприкаянность. И, видимо, не все обстоятельства, в какие попадает Иван, «в общем им же порождены». Иван в чем-то близок таким людям, как Гринька Малюгин, как классный водитель Пашка Холманский. «Я не фраер, дед, я был классный флотский специалист». Или: «А мне не надо столько денег... Ты можешь это понять? Мне чего-то другого надо».

Очевидно, если Ивану помочь найти применение своим силам, он окажется способным на добрые и большие дела.

В разнообразных шукшинских типах, как мы уже говорили, нередко приметна одна особенность — это некоторая странноватость, чудаковатость. Она присуща и колхозному механику Сане («Коленчатые валы»), и кузнецу Федору Граю («Артист Федор Грай»), и шоферу Михайле Беспалову («Светлые души»), и, конечно, Гриньке Малюгину, Пашке Холманскому, старичку из рассказа «Случай в ресторане», отчасти Рязанцеву («Думы») и многим другим.

Сам Василий Шукшин декларировал эти пристрастия так: «...Герои — чудаковатые, даже несколько странные люди, которые при более пристальном внимании к ним оказываются людьми с доброй и красивой душой, с искренней, даже несколько наивной любовью к окружающим. При всей простоте и непритязательности их жизни на поверку

¹ Указ. соч., стр. 118.

² Указ. соч., стр. 112.

они оказываются душевнее, чище и скромнее, чем те, кто любит посмеяться над их «странностями» и «чудачествами»!

В последнее время интерес к подобным героям у прозаика стал заметнее. Если поначалу это люди действительно только «чудаковатые, несколько странные» (и странности их зачастую объяснимы сильными душевными потрясениями), то позднее остраннение героев обостряется, и поступки их нередко становятся трудно объяснимыми не только с позиций житейского здравого смысла. Как будто странно поступает Степан Воеводян («Стенка»), сбегающий из тюрьмы за три месяца до окончания срока заключения. Теперь его ожидает новый суд и новый срок заключения. Но вот Степан объясняется с участковым милиционером: «Ничего... Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили — каждую ночь деревня снится...» И глубокие человеческие чувства не могут в этот момент не захватить читателя. Внутренне оправдать Стенку помогает нам и автор, мастерски передающий и атмосферу крестьянской семьи, и неповторимость родных мест.

Огромным душевным потрясением можно объяснить и чудаковатый поступок шофера Ивана Петина («Раскас»). От Ивана ушла жена, горько обидев его еще и оскорбительной запиской. И он решает выплеснуть свою беду в рассказе, который, по его мнению, найдет место в районной газете. По «художественным качествам» этот «раскас» Ивана, пожалуй, даже превосходит стихи Гриньки Малогины. «Двадцать пять лет из-под пера не шла строка, а вот сейчас пишу куплеты». Но опять-таки эти сочинения поражают не только незадачливостью авторов. «У меня сердце к ей приросло. Каждый рас еду из рейса и у меня душа радуется: скоро увижу. И пожалуйте! мне надстраивают такие рога!».

Несколько иной характер носят рассказы «Чудик», «Миль пардон, мадам!», «Микроскоп», «Даешь сердце!».

«Чудик» — это своеобраз-

ный «манифест» чудачества. «Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории — мелкие, впрочем, но досадные».

Духовно близок Чудик и Андрей Ерин, герой рассказа «Микроскоп». Только чудачества столера носят еще более странный характер. Он приобретает микроскоп и, убедившись, что вокруг миллионы микробов, решает спасти человечество, уничтожив их раскаленной иглой либо током.

К этому племени бескорыстных чудаков принадлежит и ветфельдшер Александр Иванович Козулин, «глухой зимней ночью разбудивший село гулками выстрелами из крупнокалиберного ружья» («Даешь сердце!»). Козулин в ту ночь салютовал в честь пересадки сердца в Кейптауне.

Стилистика рассказов о чудаках также несет в себе определенные особенности. В основе рассказа по-прежнему случай. И не только экстраординарный, но часто с резко выраженной анекдотичной окраской. Однако при этом фабула порой распадается на несколько случаев. Примером может служить рассказ «Чудик», где поначалу герой находит в магазине районного города пятьдесят рублей и отдает их продавщице. «У нас, например, такими бумажками не швыряются», а спохватившись, что деньги-то обронил он сам, стесняется попросить их обратно. Далее, случай в самолете, когда Чудик, желая помочь соседу, оказывает ему медвежью услугу. И, наконец, центральный анекдотичный эпизод — Чудик раскрашивает детскую коляску своего племянника: «...пустил журавликов — стайку уголко, по низу — цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток...»

В фабулу рассказов вклиниваются и пересказы различных житейских трагикомических случаев. Например, история о том, как Бронька потерял два пальца, или байка, доверенная Чудиком дорожному попутчику.

Интересно, что юмор рас-

сказчика, несмотря на анекдотизм ситуаций, по-прежнему сочетается с лирическим настроением.

Шукшинские чудики нередко люди бывалые или, по крайней мере, стремились казаться таковыми. Поэтому их лексика весьма пестра. Сочетание в ней книжного, зачастую канцелярского языка с нарочито грубыми просторечиями дает комический эффект. «Не имеют права. Это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать», «Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, а я его как шугану!». («Миль пардон, мадам!»); «Она вобщем то не дура, но малость чокинутая начет своей физиономии» («Раскас») и т. д.

Критика отмечала некоторую близость отдельных компонентов стилистики В. Шукшина и М. Зощенко. Нам кажется, что эта близость рельефнее всего проявилась в рассказах В. Шукшина о чудаках.²

Но, отмечая эту близость, нельзя забывать принципиальные различия. В. Шукшин любит своих чудаков, всем строем повествования подчеркивает их полное бескорытие, самоотверженность, душевную ранимость, а М. Зощенко, напротив, зачастую хлестко и безжалостно высмеивает своих «героев». Ведь это чаще всего как раз те мешане и обыватели, которые с нескрываемым презрением относятся ко всему, что так не похоже на них, ко всякого рода ищущим и «чужающим». Поэтому В. Шукшин, в отличие от М. Зощенко, не заостряет ситуации до фарса, гротеска, его юмор не бывает злым, редко переходит в сатиру. Тем не менее, в новом сборнике рассказов «Характеры»³ можно заметить трансформацию шукшинского юмора в сатиру. Вспомним хотя бы рассказы «Свояк Сергей Сергеевич», «Мой зять украл машину дров».

Как видим, творческие пути Василия Шукшина весьма своеобразны. Его волнуют кардинальные проблемы человековедения: смысл прожитой жизни, нравственный поиск, богатство и щедрость внутреннего мира. Но эти кардинальные пробле-

¹ «Труд», 1968, 18 авг.

² Особенность стиля М. Зощенко выделял А. М. Горький: «Такого соотношения иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого». Лит. наследство, т. 70.

³ В. Шукшин. Характеры. М., «Современник», 1973, стр. 221.

мы, понятно, не лежат вне времени, вне аспектов социальной жизни.

Нам представляется, что В. Шукшин, хотя его тематика касается не одних сельских жителей, во многом все-таки остается «деревенщиком», отразившим существенные стороны жизни современного села.

Правда, производственная жизнь села у него, как и у многих представителей новой деревенской волны, от Василия Белова до Валентина Распутина, употребляя выражение критика Л. Теракопьяна, «как бы ушла в подтекст, проявилась не прямо, а опосредственно в повседневном бытии героев, в их порой сугубо личных, домашних заботах».¹

В рассказах первого сборника мы часто встречаем героев Шукшина то в поисках колесчатых валов, то за рулем грузовика, то на аварийном ремонте парома, в горячую уборочную страду. В последующих же произведениях они нередко за семейным или дружеским застольем, в отпускной поездке, на охоте. Но, безусловно, шукшинский герой, особенно «чужак», не персонаж очеркистов овечкинской школы и их приверженцев в других жанрах. Однако творчество Шукшина в этом плане лишь одно из свидетельств многообразия направлений и стилей современной прозы.

Принадлежность Шукшина к писателям-«деревенщикам» определяется всем строем его поэтики: и словарем, сочетающим в себе лексику городскую,

профессиональную, жаргонную, общелитературную, но в основе, в сердцевине своей содержащую образную речь деревни; и метафоричностью, уходящей в ту же сибирскую деревню; и мастерски написанными пейзажами; и всем обликом своих героев, у которых и в городе часто проявляются черты деревенских жителей (более того, их глазами писатель следит за быстротечностью городской жизни, зорко подмечая ее плюсы и минусы).

Справедливы ли, однако, упреки критиков в противопоставлении писателем деревни городу?

Василий Шукшин не стал апологетом патриархальной деревни. Нельзя заподозрить его в непонимании роли современного города. Однако, при всем том взаимоотношения города и деревни в его произведениях не так просты. Шукшин не раз показывал, как сельчанин, попав в город, меняется не в лучшую сторону («Игнаха приехал»), как открытый деревенский парень сталкивается здесь с девушкой, не способной ответить на его цельное чувство («Ленька»), как наивному, неопытному деревенскому жителю непросто акклиматизироваться в этих условиях («Земинный яд»).

А в своих публицистических выступлениях писатель подчас напоминал об отрицательных моментах миграции сельского населения. «Если в городе появится еще одна хамовитая продавщица (научиться этому — раз плюнуть), то кто же тут

приобрел? Город? Нет. Деревня потеряла. Потеряла работницу, невесту, мать, хранительницу национальных обрядов, вышивальщицу, хлопотунью на свадьбах. Если крестьянский парень, подучившись в городе, очертил вокруг себя круг, сделался довольным и стыдится деревенских родичей, — это явная человеческая потеря...»²

Видимо, рассказы об этих человеческих потерях либо близкие к ним и дали некоторым критикам если не основание, то повод для утверждений о том, что, по мнению Шукшина, город разрушает личность, исповедует иные, чем в деревне, устои.

Но пафос произведений Шукшина — далек от подобной программы. Другое дело, что Шукшин, на наш взгляд, не создал образа горожанина, который по художественному проникновению приближался бы к его персонажам сельских жителей.

Творчество растущего художника трудно уложить в рамки однозначных оценок.

Недаром, анализируя его кинокомедию, известный критик Ю. Ханютин говорит: «Печки-лавочки! Неужто только круговерть эпизодов, где на каждое «да» находится свое «нет»...

Но, как признает и сам Ю. Ханютин, дело гораздо сложнее.

Суть, очевидно, в том, что шукшинские «да» и «нет» — это своеобразная диалектика художнического познания действительности.

¹ «Дружба народов», 1969, № 1, стр. 250.

² «Сельская молодежь», 1966, № 11, стр. 22.

Н. ЯНОВСКИЙ

ИЗ РАННИХ СИБИРСКИХ РАССКАЗОВ И ОЧЕРКОВ ВЯЧЕСЛАВА ШИШКОВА

Исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося советского писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова. Около двадцати, по его признанию, лучших лет он прожил в Сибири. Здесь формировался как гражданин, здесь же начинал свою деятельность как писатель. С 1908 по 1916 год Вяч. Шишков активно выступал в томских и барнаульских газетах. За этот сравнительно короткий период он создал свыше пятидесяти статей, очерков, рассказов, написал значительную по содержанию и художественным качествам повесть «Тайга».

Многие из этих первых произведений писателя не входили в его отдельные книги, в собрания его сочинений. Да и само начало своего творчества он датировал не 1908, а 1912 годом, годом публикации рассказа «Помолились» в журнале «Заветы». Между тем и самые ранние произведения Вяч. Шишкова (1908—1911 гг.) выраительно говорят нам как о характере творческого метода, тесно связанного с критическим реализмом начала нашего века, так и о характере его мировоззрения, не укладывающегося в систему взглядов народников. Еще больше они говорят нам об истинных истоках его последующих творений, ставших образцовыми. — «Тайга», «Угрюм-река», «Емельян Пугачев».

О символично-аллегорической сказке «Кедр» (1908), первом выступлении Вяч. Шишкова в печати, И. Изотов в книге «Вячеслав Шишков» (М. 1956) писал как о произведении, в котором «выражена чисто народническая идея о герое, выступающем защитником масс, ибо сами они якобы не способны к активным действиям» (стр. 7). Логика исследователя проста: кедр — это сильный человек, а птички, которые спасаются от хищников в его ветвях, — народные массы... Анализируя таким образом, легко и в «Песне о Соколе» увидеть воспевание революционеров-одиночек, а в словах «Безумство храбрых — вот мудрость жизни!» обнаружить типично народнический лозунг.

Прав Г. Кунгуров, отмечая, что необходимо учитывать конкретно-исторические условия, в которых Вяч. Шишков писал и печатал эту сказку, условия реакции, когда прямое выражение

свободолюбия находилось под запретом. Аллегорический жанр в то время был распространенным явлением. Вяч. Шишков, как и многие до него, выбрал этот жанр, чтобы сказать о своем гневном осуждении той «стаи коршунов», что с «хищным клекотом» несет за «роем испуганных птичек», то есть за слабыми и нуждающимися в защите. Кедр — краса, богатство и мощь сибирской тайги, сибирской природы — реальное олицетворение той силы, которая корнями «глубоко уходит в родную землю» и которая всегда выступает в защиту обездоленных, она борется за свободу, внушает веру в завтрашний день. «Кедр был справедлив и гневен», и он одержал победу — «прочь полетели хищники», а те, кого он избавил от гибели, пели ему песни: «Кедр, ты справедлив... Мы тебя любим... Ты защищаешь нас... Ты учишь нас жизни... Спасибо, спасибо, кедр...».

Из-за неопытности автора сказка не стала гимном торжеству света и народной правды, но она точно выражала настроения передовых сил общества, не желавших мириться с поражением революции: «Кедр стоит на той поляне, угрюмо смотрит вперед, высоко подняв голову, как рыцарь с приподнятым забралом». Надо на минуту представить себе, с каким чувством читались эти слова в дни разгула в стране массового террора.

В 1909 году Вяч. Шишков принимает активное участие в издании томского литературно-художественного журнала «Молодая Сибирь». «Денег у нас не было, — вспоминал писатель, — собирали, как на погорелое, по знакомым и состоятельным людям, с унижением».

Первый номер журнала, как объявлено во втором, был целиком конфискован, а следующие девять были, безусловно, прогрессивно-демократического содержания с довольно откровенной критикой правительственной политики по отношению к многочисленным народам Сибири, обреченным царизмом на вымирание, к русским крестьянам-переселенцам, обманутым в их ожиданиях, и к политическим ссыльным, поставленным в нечеловеческие условия существования. В публицистической статье «Обзорение сибирской жизни» так оценивается состояние после-революционной Сибири:

«Глубоко безотрадную картину представляет

современная жизнь Сибири. Обширная страна, со всеми данными для прекрасной, благоустроенной и культурной жизни, живет какими-то кошмарными впечатлениями гнета, преследований, гибели, преступлений. Лишь изредка на этом мрачном фоне сверкнет искра яркой общественной или личной инициативы, да и та скоро меркнет, бессильная одолеть ядовитую мглу».

Конечно, в журнале не обошлось без областнических тенденций, проявившихся в программном для журнала стихотворении И. Тачалова «Молодая Сибирь», без народнических иллюзий, нашедших отражение в рассказе Г. Гребенщикова «Жница» и других произведениях, но именно здесь был опубликован первый крупный рассказ Вяч. Шишкова «Бабушка потерялась», который при всем своем художественном несовершенстве никак не связан с правверным народничеством, в реалистическом рассказе об «идиотизме деревенской жизни» полностью отсутствует идеализация народа. В течение многих лет мужики таежной деревушки по своей прихоти не занимали общественного пастуха, а деньги, предназначенные для этих целей, согласно проповеди. Без награды «на водку» мужики не желали разыскивать по их вине потерявшуюся бабушку Пелагею (она ушла в тайгу за коровой и не вернулась), пока их не устыдил «прохожий старик»: «Не ладно делаете, не ладно... Не по правде живете, православные... По-волчьи нельзя жить-то, а по-человечески...»

В 1910 году в рассказе «В кают-компании», опубликованном в газете «Сибирская жизнь», Вяч. Шишков, по существу, преподает урок российским купцам и промышленникам, занимающимся освоением богатств Сибири варварскими методами, без всякой заботы о будущем страны и народа. Предприимчивый датчанин, наладивший производство сибирского масла, отнюдь не вызывает особых симпатий, но его метод разумного промышленного развития края, конечно же, предпочтительней методов местных колупаевых. Иных барышей, как сам-сорок и сам-сто, они не признают, ничуть не беспокоясь, что завтра же их с такой «методой» может вытеснить и Германия, и Япония, и Англия. Ведь прямым обвинением местным промышленникам и купцам звучат слова датчанина: «Не мы ли, иностранцы, снабжаем и еще долго будем снабжать вас и земледельческими орудиями и прочими машинами, которые вы, к стыду своему, еще не умеете дешево и хорошо вырабатывать?» Целую программу преобразования страны по образцу передовой капиталистической Дании развивает датчанин перед случайными пассажирами парохода, среди которых не все так пьяны и так самоуверенны, как некий Платон Карпыч и его собутыльник дьячок, есть и такие, которые «по-умному слушали» речь датчанина:

«Поймите, что нельзя жалеть денег на то, что сделает мужика хорошо грамотным и развитым. Он тогда поймет сам, что надо делать, он создаст тогда множество кооперативных, потребительских и иных полезных обществ, он заведет свой банк и будет сознательно трудолюбив и сознательно экономен...»

Вряд ли настоящий датчанин явно во вред своим интересам в России будет давать такие советы вплоть до организации кооперативов и банков. Тут не без того, что Вяч. Шишков в какой-то мере излагает и свои взгляды на перспективы хозяйственного и культурного развития

Сибири. Не случайно с ломаного русского, каким говорит его «датчанин» в начале рассказа, он переводит все на ясный чистый русский язык и передает уже не характер героя, не форму его пространной речи, а ее суть.

В 1910 году Вяч. Шишков заметно сочувствует взглядам «датчанина», который один в рассказе выдвигает довольно разумные соображения, смысл коих сводится в конечном счете к одному: уж если на самом деле стачковаться на путь капиталистического развития, то надо это делать по-европейски...

В безобидной статье «Любителям красот природы» (1910), в которой с восторгом описаны и красавица Бия, и «искрящаяся небесной синевой огромная площадь» Телецкого озера, и благоухающая, югом пахнущая долина Чулышмана, все-таки сказано, что Чулышманский мужской монастырь «имеет... около 3800 десятин пахотной и иной земли», что «плата, взимаемая монастырем за пользование земельными угодьями, сильно стесняет инородцев», что «они относятся к монастырю с нескрываемой ненавистью» и что, наконец, «при таких условиях просветительная деятельность монастыря равна нулю».

И сразу видно, что критикует и советует человек, практически участвующий в освоении богатств Сибири, отлично знающий, как неразумно ведется в стране хозяйство, какой безудержной эксплуатации подвержен трудовой люд Сибири — рабочие, крестьяне, особенно переселенцы и ее коренное многонациональное население.

В рассказе «Злосчастье» (1910) мы знакомимся с крестьянином Рязанской губернии, доведенным до отчаяния, и тем, что «в Рассее-то земли вовсе мало — вроде как у журавля на кочке, одно звание, что земля», и тем, что в Сибири, куда с трудом добрался, он бесчеловечно обманут в своих ожиданиях — земли и здесь ему не дали. Видите ли, какие-то правительственные проекты-законы изменились, пока он ехал. «На кой мне рожон ваши проехты-то!.. — слезно возмущается мужик. — Земли мне подай, земли! Пишут-пишут... Тьфу! И никакого проку. Али это не разор? Али не озорство это? Чтобы вы опухли все, аспиды... Что же это, господи? Правда-то где... Правда-то?» Дотла разорился мужик на дальнюю дорогу, а тут еще жена, не вынесшая беды, бежала вместе с детьми, последнее увезла... «Плач ребенка так обычен, так естествен, — обобщает автор, тоже убежденный, что справедливости у «аспидов» ни на грош. — Но слезы мужчины, сильного, бородатого... При виде их — как хотите — становится не по себе...»

В статье «Пасынки» — жуткие картины гибели «инородцев» от болезней, заставившие писателя с болью воскликнуть: «Родина, мать ли ты? Пожалей своих пасынков!» В очерке «На Лене» рассказано о «темноте и спячке», царящей повсюду на ее красивых берегах, об «удручающей апатии», какой охвачены здесь все живущие:

«И люди здесь сонные: как впотьмах бродят, унылые, насквозь промерзшие. И речи-то у них мертвые: говорят, словно по покойнику читают. И на все жалуются: и на темноту свою непроглядную, и на болезни, и на бесхлебицу. На все жалуются. А где причина зла — разобратся не могут. Здесь нет дорог, а школы так редки, как звезды в покрытом тучами небе. Здесь нет врачей — и люди маются весь свой век, с колыбели до смерти, темные, обездоленные, больные».

И снова в конце горького рассказа вопрос-

боль, вопрос-упрек, вопрос-надежда: «Когда же проснешься ты, Лена-красавица?!»

В рассказе «Ванька Хлюст», написанном в 1911 году на модную тогда тему о бродягах, вскрывается социальная природа трагедии таких людей. Первые же фразы о герое вызывают к нему полное читательское сочувствие: «Высокий голос, весь тоска и слезы, жаловался на что-то звездам, укорял кого-то... Это Ванька Хлюст, бродяга, что вчера пристал к деду, как затерявшаяся собачонка». Здесь каждое слово к месту и выходит за пределы обычной вводной информации. Ванька Хлюст в самом деле одаренный музыкант, обладатель редкого голоса. Он заметно выделяется умом, душевной силой, красноречием, в его рассказе о себе — человеческое обаяние, искренность, точность и ясность слов-образов, передающих все оттенки его мучительных переживаний. Физически он страшно искалечен: по вине пона-самодура обморозил руки и ноги. Духовно он надломлен барским равнодушием к своей судьбе со стороны власть имущих — того же пола, к которому Ванька обратился за помощью. Но самое привлекательное в Ваньке — его стремление не сдаться, он продолжает искать силу для преодоления обрушившихся на него невзгод в самом себе, в тайге-природе: «Пошел прямо в тайгу. Пришел, пал на колени, реву: матушка — напитай, матушка — укрой!. Не выдавай, тайга-кормилица, круглого сироту Ваньку Хлюста!» Даже поставленный на грань безвыходного отчаяния — ни в вине, ни в боге не нашел он утешения — он обосновывает уход из жизни бесполезностью своего существования: «Зря топтать землю — в том моего согласия нет!» Весь рассказ звучит как обвинение «хозяевам жизни».

В том же 1911 году Вяч. Шишков в очерке «С берегов Лены» описывает нетерпимые условия жизни и труда приисковых рабочих. Зверская эксплуатация, полуголодное существование в грязных бараках, темнота, бесправие... И вскоре по всей Лене вспыхнет невиданная в этих местах забастовка, которая той же газетой, где печатал свой очерк Вяч. Шишков, будет поддержана всеми доступными ей средствами: гласным осуждением кровавого террора властей, очевидной солидарностью с восставшими рабочими.

Видимо, нет нужды доказывать, что писатель не был в те дни революционером, и у нас нет оснований сомневаться в словах В. Бахметьева, говорившего, что Шишков в то время «надежд на пролетариат страны» не воздагал, поскольку видел его преимущественно замордованным и разобщенным. Но несомненно, к 1912 году Вяч. Шишков уже стал прогрессивным общественным деятелем, писателем-гуманистом, ходатаем угнетенных народных масс, передовым публицистом и художником, который ставил в своих статьях, очерках и рассказах самые злободневные и самые острые проблемы в жизни русского общества.

К этому необходимо добавить, что вся деятельность Вяч. Шишкова, инженера-изыскателя, писателя и человека, была проникнута любовью к родному народу, верой в его творческие силы. В 1911 году на берегах Нижней Тунгуски, попутно с проводимыми изысканиями, он записывает народные песни и былины. Песни, собранные им тогда (около ста), писатель публикует в 1914 году с трогательно бережным отношением к каждому их слову. В письме к Пота-

нину от 25 июля 1911 года из села Преображенского на Нижней Тунгуске он, с горечью сообщая, что здесь «не осталось в памяти народной ни одной былины», восклицает: «Но зато старинные «проголосьные» песни — это восторг! Вот образец великой красоты слова: «Не ржавчина на болотинке травянку съела...»; или: «Не в уме то было, да не в разуме. В помышленьице того не было». Или:

Не полынь—то трава в чистом поле расшумелася,
Не кудрявая ко сырой земле приклонилася,
О, не от ветру — то сине море всколыбалося,
Всколыбалося сине-то море, как от вхорю...»

(См. «Сибирские огни», 1959, № 2, стр. 175).

Об этих песнях Вяч. Шишков хорошо скажет в предисловии к ним, написанном в 1912 году. Здесь и характер писателя, и его эстетические требования, и его понимание значения проделанной работы:

«Не умея записывать мелодий и, вообще, являясь дилетантом в этой области исследования, я очень огорчился отсутствием у меня фонографа, так как на Н. Тунгуске я встретил поразительной красоты и силы мелодии (например, в таких песнях, как «Угрюм-река», «Гуленька голубчик», «Горы Змеевские», «Ай, во те годы, во те преждни-начальные», «Уж ты, поле мое, широкое раздольице», «Уж ноченьки, мои темные» и большинство свадебных).

При очень оригинальном, своеобразном исполнении, с большими слезами в голосе, переходящими в скрытые рыдания, эти песни производят на слушателей чарующее впечатление, они будоражат душу до самых глубин ее, вызывая в памяти давно минувшие времена и заставляя восторгаться изумительным по выразительности и проникновению в суть вещей русским народным творчеством». (В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения, воспоминания, письма. Л., 1956. стр. 70—71).

В способности народа чарующим искусством своим проникнуть в суть вещей, потрясти душу человека до ее сокровенных глубин, т. е. в художественной одаренности народа черпал Вяч. Шишков веру в его силы.

Но кроме того, писатель был внимательным и вдумчивым наблюдателем текущих процессов в жизни. В недавно найденных очерках «Озимые всходы» с примечательным подзаголовком «Из путевых впечатлений 1907 года», по-видимому, записанных по свежим следам, мы встречаемся с крестьянином из глухотной сибирской деревушки Темной, ведущим опытное хозяйство. Он где-то раздобыл семена бобов и китайского горошка, мечтает о разведении неведомого сорта «ковьяльяна», из которого «и хлеб, и водка, и топливо — чего хошь», утверждая с запальчивой страстью: «Не я буду, чтоб не развел здесь этих самых произрастений... Я своего резонту не отпущу! А то что у нас: тьма...» Он же, Андрей Иванов, «сам с собой» грамоте обучился. Посмотрел-подслушал, как один охотник газету вслух читал, запомнил некоторые слова и их начертания, потом «равнял-равнял да и... докумекался, раскумекал, в чем тут смак-то!». И хотя грамота нужна Андрею Ивановичу для обогащения, даже для обману просвещенных и непросвещенных (так он сам объяснил), мы видим, как решительно потянулась деревня к знаниям, к пониманию того, что вокруг происходит.

А в другой деревне, куда заехал Иван Иванович, рассказчик, события развивались трагически. По-своему поняли крестьяне октябрьский манифест о свободах и решили кабинетский лес захватить самостийно: «Лес-то наш, кричат, хотим рубим, хотим жжем, хотим с маслом жрем». Естественно, приехали стражники — крестьяне, их залпом из охотничьих ружей встретили. «Урядник орет: «Войсков на вас пошлем!» — «Насылай, — кричит мир, — все равно не допустим и войсков!». Но наехала, по определению мужиков, «поротельная спедиция» во главе с «енералом» и расстреляла несколько человек острастки ради.

И тот и другой факт из впечатлений революционного 1907 года свидетельствует о накопившейся в народе взрывной силе, которая требует выхода и находит его. Все это видел и верно понимал Вяч. Шишков.

Таким образом, в сибирской жизни, во всем ее многообразии, зорко подмеченной и по-всему познанной, в народной революции 1905—1907 года в Сибири, заинтересованно и активно пережитой, в сибирском народно-поэтическом искусстве, изучаемом с пристальным вниманием и любовью, таятся подлинные истоки мировоззрения и творчества выдающегося русского писателя.



Вячеслав ШИШКОВ

ЛЮБИТЕЛЯМ КРАСОТ И ПРИРОДЫ

Р. БИЯ, ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО И Р. ЧУЛЫШМАН

Прошлым летом и нынче довелось мне по-странствовать по Телецкому озеру, Бии и Чулышману. Цель настоящей заметки — ознакомить публику, ищущую летнего отдыха, с этими поистине очаровательными местами. Все хвалят излюбленные, давно насиженные: Чемал, Чергу, Элек-Монар и пр., все стремятся туда, может быть, в третий, десятый раз, чтобы снова и снова созерцать все те же виды. Слов нет, хороши там горы, блестят на солнце, как серебряные, их снеговые вершины, но разве есть в тех местах красавица Бия, и где вы встретите там такую искрящуюся небесной синевой огромную площадь воды, как Телецкое озеро? Поезжайте на Бию, на Телецкое озеро, на Чулышман. Скажете спасибо.

Опишу бегло весь путь к Чулышману, указав попутно места, заслуживающие внимания туриста.

Пароходства от города Бийска по верхней Бие, к сожалению, нет, хотя все данные: и наличность кое-каких грузов и достаточная глубина на переборах, за исключением двух-трех мест, — говорят за то, что пароходство возможно до Кузенского порога, лежащего в 45 верстах от выхода Бии из Телецкого озера, а сильный мел-

косидящий пароход поборол бы, пожалуй, и Кузенский и Сара-Кокшинский пороги и добрался бы до с. Кебезень, в 17 верстах от Телецкого.

Но пароходства нет. Нам остается пожелать, чтобы оно было, сесть в Бийске на лошадей и отправляться в путь.

Дорога до Кебезени, на протяжении 220 верст, колесная, сравнительно удобная, если не считать перевала через Ажи-горы и последних верст двадцати пред Кебезенью. Идет она сначала по степной, а от с. Енисейского — по лесистой местности вдоль Бии, то и дело подбегая к самой реке.

Первым интересным пунктом будет д. Ажинская, в 115 верстах от города.

Возле нее добывается хорошего качества белая огнеупорная глина и охра, а также открыто месторождение каменного угля.

Дальше с. Сайдыл (бывший казачий пикет), за ним аил Алешкин, тут вы вступаете в царство черневых алтайских татар. Следующий аил Сапожкин, потом — Шенарак (Осинники), за которым довольно утомительный и трудный, но совершенно безопасный перевал через кряж Ажей-гор. Вид с перевала на бийскую долину очень красив.

Далее — два аила: Босток и Сурбашкин, невдалеке от которого, по пути, вдается в реку живописная скала «Малый Иконостас», в скале, у ее подножия, есть пещера. Под аилом Колонковским дорога идет возле причудливой формы скалистых гор, а версты на две подалее огибает красивый речной бом «Большой Иконостас».

На 175 версте от города, на правом высоком берегу, маленькое, но живописное, окруженное хвойным лесом село Турачак (Миссия). Здесь не мешает денька два-три пожить (...). И ежели с собой есть палатка, то прямо в бору.

Верстах в пяти от села на ровном возвышении плато стоит высокая — больше версты — чрезвычайно красиво очерченная гора Салоп. У ее подножия перелесочки, пашни, рощи, луга. С вершины горы открывается дивный вид во все стороны: пред вами как на ладони р. Лебедь с ее узкой долиной, теряющейся в цепи Абаканских предгорий и гор, увенчанных снегом. В ее зеленой пойме виднеются многочисленные богатые заимки. Бия, совсем маленькая сверху река, кокетливо извиваясь меж выступающих скал вверх и вниз, видна на десятки верст. А кругом, куда ни обернешь, горы, горы, леса. На самой вершине Салопа есть природой созданная впадина, наполненная студеной водой. Восхождение на гору — пешком. Выйдя рано утром, к вечеру можно вернуться домой.

В версте от Турачака — урочище «Кипятки»: вдавшаяся в реку скала, возле коей, как кипятилок в котле, играет вода Бии, а еще ниже по речке несколько каменных монолитных «носуй», живописно выступающих в реку: Сын, Гладкая плита, Ячменев камень. Потом еще две скалы: Б. и М. Турачак. Все это чрезвычайно красиво. Горный ландшафт, море хвойного леса, полное отсутствие болот и «гнуса».

Село Турачак можно рекомендовать как превосходное дачное место (...). Очень удобное, совершенно безопасное и довольно скорое сообщение с Бийском на любом из массы проходящих мимо плотов, зачастую останавливающихся у села.

В 30 верстах от Турачака встречается группа Кузенских порогов — первое препятствие для плавания. Дорога идет здесь возле самой реки, и это дает возможность осмотреть пороги попутно. На версту повыше дорога разветвляется: одна продолжает идти по правому берегу, другая, более удобная, у заимки Болотова перебрасывается за реку и вскоре сливается с идущим на Кебезень Уламинским трактом, который верст через 10 от этого места, у заимки Кабалина, переходит на правый берег и вплоть до Кебезени пролегает возле самой реки. Виды здесь удивительно хороши. Река принимает строго горный характер: то и дело слышится говорли-

вый шум переборов. Вода ожива, говорит, бурлит, сердится. Приплески усеяны огромными, точно гигантские караваны хлеба, валунами («булочник»). Повсюду то зеленеющие хвоей, то обнаженные и прекрасные в наготе своей горы. Вода прозрачная, издали кажется темной.

Но вот возле левого берега жметя — ползет узкая полоса зеленой воды: то река Сара-Кокша влилась слеза в Бию со своей изумрудного цвета таежной водой.

Еще подвигаетесь вперед, и ваш слух поражает октавистый рев, словно львиный рокот.

Это грохочет Сара-Кокшинский порог.

Река тут сразу поседела от злости, рвет и мечет, стонет и бурлит, наседая на камни, засорившие ей дорогу.

Вот один, другой бом, а вот и с. Кебезень. Что за прелесть это село! Его почти не видать с дороги: все заросло лесом.

Кебезень — великолепное дачное место: как кристалл, прозрачная, очень вкусная вода, хорошее холодное, для любителя, (до 10—12°) купанье (хотя тут же, в селе, течет р. Кебезенька с обычной температурой воды 15—20°), горный чистый воздух, живописный ландшафт, прогудки верхом на Телецкое озеро, на пороги Бии и пр. (...).

Из Кебезени до поселка Артубаш на Телецком озере — две дороги. Одна, 17 верст длиною, с двумя перевалами через хребет Ажи-Ач, довольно удобная для вьючной езды, местами болотистая, пролегает вдали от Бии по дремучей девственной тайге. Другая идет ровным местом возле Бии и на 12 версте, у порога Кобыровского, переходит в тропу, свертывающую от реки в горы. Тропа эта, очень неудобная, часто теряющаяся в таежных дебрях, соединяется с первой дорогой возле речки Иртека.

К слову сказать: проведению от Кебезени к озеру хорошей колесной дороги вдоль берега Бии, без подъемов и спусков, мешают лишь два невысоких бома, вдавшихся в реку между Кобыровским порогом и Телецким озером. Слышал я, что и деньги на разработку этих бомов кем-то пожертвованы, но где эти деньги и сколько — мне неизвестно. А между тем вопрос о проведении здесь дороги является неотложно необходимым, ибо существующий — очень гористый вьючный путь, помимо своего неудобства, весной и осенью становится на несколько месяцев непроходимым, оставляя этим самым все население Телецкого озера и долины Чулышмана совершенно отрезанным от торговых пунктов. Обстоятельство это сильно отражается на жителях, в особенности на инородцах, ставя их в полную экономическую зависимость от местных торгашей. Недаром цена на пуд соли достигает иногда в Артубаше до 2 р. 50 коп.

Из Кебезени необходимо сделать экскурсию вверх по Бии. Здесь что ни шаг, то диво! Сначала урочище «Щеки», где река, обогнув крутым поворотом каменный остров, бешено мчит прямо в грудь скалы. Дальше могучий Пыжинский порог — самое страшное из всех препятствий Бии. Свое название получил он от реки Пыжи, впавшей в Бию с левого берега. Версты на полторы взмешал порог воду. Бушуют седые валы, и рев их разносится по горам победным эхом. Особенно эффектен порог в малую воду, когда камни — преграда реке — высовывают из волн свое темя. Скорость течения достигает тогда 27 верст в час!

Далее бом Кайгану, бом Гуру и порог Кобыровский — тоже могучий, но меньшей брат Пыжинского. Отсюда вдоль Бии ни дороги, ни тропы нет. Несмотря на огромную в порогах скорость течения и усеянные большими камнями ложе реки, несчастные случаи с проплывающими пороги плотами весьма редки, и у опытных жожаков их не бывает вовсе.

Рекомендую проплыть на плоту всю Бию или хотя наиболее живописную часть ее до Турачка. Не видать Бии с фарватера во всем ее пышном наряде — значит многое, очень многое потерять в этой поездке. Тут пред вами одна за другой развернуты в красивую сказку сочные, искрящие радостью картины ее берегов, музыка порогов, и шивер будет по-своему пленять ваш слух, бешеный пробег по порогам, когда плот то зарывается в рокошущий вал, то взлетает на поверхность воды, даст пищу вашим нервам, и все это вместе взятое создаст сильное, неизгладимое переживание (...).

Но продолжим описание пути (...).

Подъезжая к озеру, как только вырветесь из зеленого моря тайги, пред вами откроется удивительной силы панорама северной части Телецкого озера. Горы, горы! Вблизи темно-зеленые, с яркого цвета неширокой поймы, вдали, налево, — синеватые. И откроется пред вами гладь озера, как голубой, искрящийся под солнцем шелк. Если нет ветра, все горы отразились в воде: стоят, притихли, словно молятся. Внизу игрушечный поселок Артубаш с маленькими немногочисленными домиками. В этом поселке можно остановиться (...). В Артубаше вы ознакомитесь с бытом теленгитов (телесов), от коих и произошло русское название Телецкого озера, именуемого на языке инородцев «Алтын-Кель» (золотое озеро). Название это связано с известной легендой об одном алтайском богатыре, бросившем в волны озера с высокой горы (Атын-ту) большой кусок золота, которое не спасло его от бывшего в то время голода, а вслед за золотом кинулся в воду и сам богатырь.

В поселке торговых лавок нет, иной раз трудно бывает достать даже хлеба: съестными припасами надо запастись в Кебезени. На рыбу в летнюю пору надеяться нечего — ловить в озере летом не умеют, ссылаясь на то, что рыба «живет на глубине» и выходит в приплески с августа, тогда, кое-как, без всякого умения и никуда не годными сетями, горе-рыбаки все-таки ловят довольно значительное количество пресноводной рыбы: тальменей (нередко до 2,5 аршина), хариусов, ускучей, щук, налимов и пр. Но особенно справедливой славой пользуется добываемая здесь так называемая телецкая сельдь. Конец поселка стоит как раз против выхода из озера реки Бии, а в трех верстах отсюда очень эффективный первый порог Юрток (...).

Описывать поразительные красоты озера в беглой заметке не дерзну, интересующихся же научной литературой об озере отошлю к труду проф. Сапожникова «По Алтаю» и двум брошюрам: «По восточному Алтаю. (Дневник путешествия в 1905 году)» В. И. Верещагина и «Исследование Т. озера на Алтае летом 1901 г.» П. Игнатов.

Через 16 часов чистого хода при благоприятных условиях вы попадаете к устью р. Чулышмана. Долина Чулышмана! Как я стремился туда, рисуя в воображении величественные, гордые картины. Но фантазия моя поблелдела пред действительностью, пред тем, что увидел там. Почти двухверстной высоты горы озера сдвинулись близко, на версту, положив предел долине, по которой вьется река.

В противоположность дикой, пустынной красоте озера, где точно вихрь смел все живое, долина Чулышмана оживлена: щебечут птички, рыбаки копошатся на берегу, то здесь, то там аилы разбросаны, зеленеют луга, стада пасутся, режут несущиеся с гор водопады, зреет чудный здесь хлеб. И все это обласкано солнцем, все благоухает. Югом пахнет от этой долины!

Невдалеке от устья есть аил, где можно достать лошадей для поездки в Чулышманский Благовещенский мужской монастырь, лежащий в 12 верстах вверх по реке. Туда ведет приличная колесная дорога. Сначала вы едетеazole левой протоки Чулышмана, а версты через три дорога подходит к самой реке и идет по величественной, природой посеянной тополевой аллее. Вот речка Ачелман, на ней монастырская мельница, а справа, в рядом стоящих горах, ревут два доступных для осмотра водопада. Чулышман, направляемый громадами гор, делает одну за другой излучины, пейзаж ежеминутно меняется, поражая путника чрезвычайно разнообразными, удивительной силы и красоты картинами. На шестой версте перевоз на лодке. Чулышман здесь тих — можно вплавать перепра-

вить и лошадей. А чрез две версты — монастырь. От монастыря до селения Кумуртук, при устье р. Башкаус, дорога тоже порядочная, а виды, говорят, еще краше, — но я там не был.

Самым лучшим в климатическом отношении дачным местом надо, без сомнения, считать южное побережье Телецкого озера, но тут, к сожалению, нет жилья, затем — монастырь и селение Кумуртук. В монастыре можно найти на несколько дней приют и гостеприимство, в Кумуртуке есть несколько приличных, годных для дачи домов. Монастырь имеет крепостных около 3800 десятин пахотной и иной земли по долине, фактически же он завладел всей Чулышманской долиной, от озера до устья р. Башкаус, на протяжении почти 40 верст.

При умелом пользовании это благодатное место могло бы кормить тысячи народа, но...

Собранный мною кое-какой материал, касающийся этого вопроса, без достаточной проверки я опубликовать не решаюсь, а заметку свою закончу выдержками из вышеприведенной брошюры Верещагина (31 стр.), отчасти выясняющими значение для края Благовещенского Чулышманского монастыря: «Инородцы пользуются землей, уплачивая монастырю определенную сумму и за пашни и за пастьбу скота. За десятину земли под пашню платится 10 рублей, за пастьбу по 20 к. с головы крупного и по 4 к. с головы мелкого скота, за место, занимаемое уртой, — 1 р., срубленное бревно — 50 к., за

право рубить дрова — 1 р. с хозяйства и т. п. Плата, взимаемая монастырем за пользование земельными угодиями, сильно стесняет инородцев. Они относятся к монастырю с нескрываемой ненавистью. Многие даже ушли с монастырских земель. При таких условиях просветительная деятельность монастыря равна нулю. Правда, здесь все инородцы крещены, но, конечно, они в сущности остались теми же темными язычниками. Вообще, монастырь является печальным памятником алтайской миссионерской деятельности».

Июль 1910 г.

Очерк впервые опубликован в газ. «Сибирская жизнь» (Томск) — 1910, № 158 от 18 июля. В нем произведены сокращения с конкретными советами, например: «Остановиться можно у пиаря Стенина», или: «Квартиры есть. Можно добыть... мяса, молока и яйца», «Недурный магазин И. Г. Истомина» и т. п. ныне малозначащие строки. Естественно, что в названиях мест и в путях сообщения произошли большие изменения (хорошо бы проехать по этим местам сегодня!), но Телецкое озеро и река Чулышман остались столь же прекрасными, а в очерке Вяч. Шишков и в наше время заражает читателя своим восторгом, своей убежденностью, что лучших мест для отдыха, экскурсий и путешествий сыскать трудно.

Леопольд ЦЕСЮЛЕВИЧ

ХУДОЖНИКИ КНИГИ

(С ПЕРВОЙ КРАЕВОЙ ВЫСТАВКИ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ)

Обычно в книге читатель видит одного автора — это автор произведения, будь оно художественным, публицистическим, научным и т. д. И лишь немногие обращают внимание и на других создателей книги.

Между тем, беря в руки понравившуюся книгу, мы часто не отдаем себе даже отчета, что привлекло нас к ней не только имя известного писателя, но и удобный формат, выразительная обложка, удачно выбранный шрифт, цветовое решение.



В. РАМЕНСКИЙ. Обложка.

Все это результат труда и таланта художника. Труд этот малозаметен.

Полностью оценить его можно на выставках книжной графики, где экспонируются не только книги, но только оригиналы иллюстраций, обложек, заставок, букв, шмуцтитилов, но и на-

броски, зарисовки с натуры — результат творческого поиска художников. Первой такой выставкой на Алтае стала выставка, посвященная 25-летнему юбилею Алтайского книжного издательства, прошедшая в июле этого года в Барнауле.

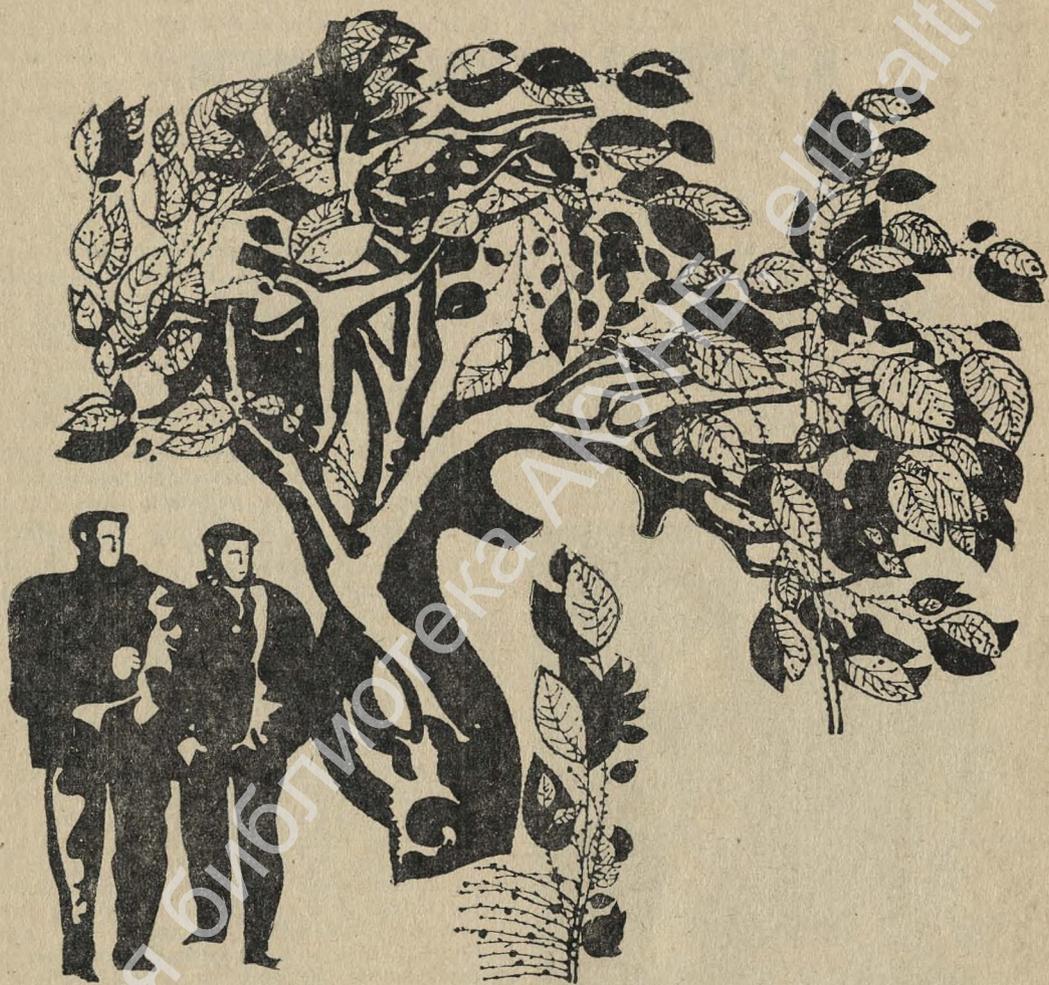
Выставка ярко показала историю книжной графики на Алтае. Поначалу в этой области работали художники М. Тершенко, С. Савчук, Г. Тарский и другие.

Первые попытки носили чисто иллюстративный характер. Авторы мало заботились о целостности восприятия всех элементов книги. Но постепенно художники-оформители стали ставить перед собой более серьезные и глубокие задачи — создавать стройную архитектуру книги, подчиняя общему замыслу формат, шрифт, качество бумаги, стилевое решение обложки и другие изобразительные моменты. В начале шестидесятых годов стал складываться коллектив художников, посвятивших свое творчество книге. Активно стали сотрудничать с издательством А. Дерявский, В. Туманов, Ю. Кабанов, С. Чернов, И. Ортанулов, Я. Свенч, Б. Лупачев, В. Еврасов. Много сделал в этой области В. Раменский, долгие годы работавший художественным редактором Алтайского книжного издательства.

Постепенно определились тематические и жанровые наклонности художников. А. Дерявский много иллюстрирует местных авторов («Море бьется о скалы» Н. Дворцова, «Город не спит» Л. Квина, «Экспедиция спускается по реке» В. Попова). В. Туманов в основном работает над произведениями русских классиков («Повести Белкина» А. С. Пушкина, «Серая Шейка» Д. Н. Мамина-Сибиряка, «Дед Мазай и зайцы» Н. А. Некрасова). В. Раменский чаще всего оформляет книги писателей Горного Алтая.

Появились и интересные оформления детской дошкольной литературы. В этом жанре с успехом работает Ю. Кабанов («Диковинка», «Проталинка» Л. Мерзликина). Т. Ашкинази («Утро» Н. Черкасова, «Чудеса в решете» С. Маршака), В. Раменский («Сказка про таежного мастера сапожного», «Букварь» на алтайском языке). За последние годы стала разнообразнее и техника иллюстраций. Появились гравюры, офорт, карандаш, акварель, гуашь.

Иллюстрации и книги алтайских художников экспонировались на республиканских, всесоюзных и международных выставках. На 2-й Всероссийской выставке детской книги были представлены



А. ДЕРЯВСКИЙ. Рисунок для титула повести В. Попова
«Экспедиция спускается по реке».



Т. АШКИНАЗИ. Иллюстрация к басне
И. А. Крылова «Кот и Повар».



Т. АШКИНАЗИ. Обложка.

В. РАМЕНСКИЙ. Суперобложка.

иллюстрации Ю. Кабанова, В. Раменского, В. Туманова. На Всероссийском конкурсе были поощрительными дипломами отмечены книги «Искорка» З. Виноградской (художник В. Туманов), «Преображенный Алтай», «В ногу с Ильичем», «В ленинских музеях Алтая» (художники В. Раменский, В. Барасов).

Оформление книги — труд не эпизодический. Здесь нужна профессиональная специализация, глубокое понимание специфики этого искусства. Ведь именно художник делает из набора печатных страниц произведение искусства. Можно сказать, что без художника книга — это еще не книга.

Оформителю книги необходимо и глубокое понимание замысла писателя, знание эпохи, в которую происходит действие произведения.

К изобразительной интерпретации авторского текста есть в основном два подхода. В первом случае художник строго следит за авторским текстом, образами, созданными писателем, стараясь в точности передать их изобразительными средствами. Такое оформление не может рассматриваться вне текста книги. Большинство наших художников работают именно таким методом.

Но в последнее время все больше получает распространение, в том числе и среди алтайских художников, создание оформления книги изобразительными ассоциациями, имеющими непосредственную связь с авторским текстом. В этом случае художник и писатель идут к одной цели, как бы параллельно раскрывая ее каждый своим языком. Такая иллюстрация может иметь вполне самостоятельное выставочное значение и рассматриваться независимо от текста.

Но, как уже говорилось, изготовлением хороших рисунков к книге дело еще не кончается. Книга должна выходить большим тиражом и полиграфическое исполнение отвечать замыслу художника.

Выставка книжной графики, где можно было сравнить рисунки с уже готовыми книгами, ясно показала состояние полиграфического дела на Алтае, которое оставляет желать много лучшего.

В то же время выставка заставила остро ощутить многие проблемы творческого и профессионального характера. Ведь мы еще не можем сказать, что оформления Алтайского книжного издательства имеют свое, отличное от других издательств художественное лицо. И эта задача настоятельно встает сейчас на повестку дня.

Даниил Серебряный (1927—1972) в годы войны жил в Рубцовске, потом в Бийске — там он учился в артиллерийской спецшколе.

Позднее окончил институт физкультуры и спорта в Ленинграде. После военной службы работал учителем, журналистом. И писал юмористические рассказы, которые не торопился публиковать.



Даниил СЕРЕБРЯНЫЙ

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Вчера наши молодожены — Юра и Люда — получили новую квартиру. Для первого знакомства с жильем они пригласили с собой Матвея Федоровича.

Матвея Федоровича не проведешь. Взором опытного в таких делах человека он окинул весь дом — от первого до пятого этажа. Юра и Люда не скрывали восхищения. После двухэтажного общежития новый дом казался им исполином. Но от поспешных выводов их предостерег Матвей Федорович:

— Пять этажей? Конечно, выше строить нельзя. Камень хрупкий, песок мокрый, цемент бросовый, строители плевые. Накинь еще один этаж и дом развалится.

Люда и Юра посмотрели друг на друга, посмотрели на пять этажей, поежились и решили: хорошо, что не шесть!

Дверь, правда, была сделана на совесть. Ни щелочки, ни дырочки, ни сучка, ни задоринки. Закроешь — будто шкатулку захлопнул. Комар носа не просунет.

Юра и Люда переглянулись. Матвей Федорович хмыкнул:

— Хм-м-да... такую дверь кулаком или ногой не вышибешь. Не приведи господь, случится пожар, так и сгорите, как в мышеловке... Пока ключ разыщите...

Юра быстро потушил папиросу и затер окурочек ногой.

Жильцы и «специалист» двинулись в кухню. Глаза молодоженов светились радостью, глаза «специалиста» излучали ехидство.

— Видите кран? Думаете, отсюда вода пойдет? Ничуть не бывало!

Матвей Федорович повернул кран — ровной серебристой струей вода полилась в раковину.

Новоселы смеялись. Но Матвей Федорович остудил их неразумный пыл:

— У вас кран исправный. А на втором этаже — никудышный. Откроют его, а закрыть не смогут. А потолки-то гнилые. Намокнут и рухнут.

Молодожены пугливо посмотрели на свежий потолок, скрывающий за своей обманчивой белизной их неминуемую гибель.

Настроение падало.

Матвей Федорович начал ковырять перочинным ножом паркет. Половицы не поддавались.

— А ну-ка, Юрка, давай топор... Нету? Сбегай к соседям...

Стены стояли прочно. Под нажимом плеча Матвея Федоровича они не шатались. Но Матвей Федорович поспешил предостеречь неопытную молодежь:

— Начнут топить батареи, пар хлынет в комнату, штукатурка отвалится, стены рухнут.

Юра и Люда тесно прижались друг к другу.

Окна оказались широкими. При первом же землетрясении они должны разбиться на тысячи осколков и, в лучшем случае, поранить новоселов. Ну, а в худшем...

...Крючок на ванной держался крепко, дверь от спальни Матвей Федорович сорвал тоже не сразу...

* * *

— Что ж, вам жить, — говорил Матвей Федорович, заканчивая осмотр квартиры. Мое дело предупредить, а там — как хотите!

ТЕПУХ

У Павла Спиридоновича Нимбова все солидно. И фигура, и выражение лица, и очки (злые языки говорят, что стекла в них обычные — оконные. Но это — злые языки. У них нет солидной внешности, и зависть заставляет их болтать всякую чепуху). Каждое слово, которое он снисходительно произносит, дышит непоколебимым апломбом, несокрушимой уверенностью в том, что все обстоит именно так, как сказал Павел Спиридонович, а не иначе. Поэтому я надеюсь: Генка простит мне, что его стихи я показал и Нимбову.

Стихи оказались приличными. Так сказал Павел Спиридонович, поэтому безбоязненно это утверждаю и я. В стихах приличная рифма, удачно подана в приличном ритме. (Это тоже сказал Павел Спиридонович). В стихах автор (Генка) рассказывал о том, что малыши видели, листая книжку.

Кончив читать, Павел Спиридонович еще раз солидно произнес: «Прилично, вполне прилично. И на машинке, молодец,

отпечатал — так больше впечатления производит». Я согласился с тем, что стихи приличные, и стал читать их сам:

«Перелистывая книжку,
Восторгался наш парнишка...
Видел в книжке Гришка Мишку,
Тепуха, лису, мартышку,
Косоглазого зайчишку...»

Тепуха... Это слово я встретил впервые. Но признаться Павлу Спиридоновичу в невежестве было выше моих сил, и я сделал дипломатический ход.

— Как вы находите, Павел Спиридонович, — «тепуха»? Неплохо сказано, а?

— Тепуха? Да, недурно. Детский диалектизм. Почитайте Чуковского, Гайдара, Маршака — они прилично подмечали детскую психологию. Богатый детский язык! «Тепух» — так дети в некоторых славянских странах называют свои любимые игрушки...

...Возвращая Генке стихи, я похлопал его по плечу, назвал молодцом и посоветовал смело нести их в редакцию.

— В особенности, понимаешь, вот в этом месте у тебя хорошо схвачено: «Тепуха, лису, мартышку...»

— Какого тепуха?

— Ну, вот здесь, четвертая строка...

— Да здесь нужно — петуха! Это Люся ошиблась, машинистка.

Описав этот случай, я решил поддеть Павла Спиридоновича и прочел ему написанное. Но он не обиделся. С обычным апломбом Павел Спиридонович изрек:

— Ничего, прилично. Есть у нас еще малоквалифицированные машинистки. Нужно их подвергать критике.

СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА

Впервые мы встретились возле минводского киоска. Ты занял тогда за мной очередь и, шутливо отдуваясь, пропыхтел:

— Уф, ф-ф, ж-жарко! А вам, девушка, не жарко?

Потом мы пошли в кино. По дороге ты все рассказывал о том, что в Хабаровске зима холодная. А в Никольске-Уссурийском климат мягче, хоть расстояние между этими двумя городами вовсе не большое. В Ленинграде, ты и об этом знал, солнца меньше, чем в Ашхабаде. И даже

чем в Ялте. Зато ленинградская осень тебе нравилась. В кино ты молчал. Только в самом начале журнала, когда показывали Байкал, ты сказал, что в этом озере даже в июле и августе ледяная вода.

— Вот бы окунуться сейчас, — прошептал ты.

После кино мы расстались на целых две недели — и ты уехал на какие-то соревнования в Финляндию...

Я ждала тебя. Мне нравились твои спокойные, мечтательные глаза. Нравилось, как ты смотрел на меня — влюбленно, но и с уважением. Я ждала тебя и считала часы. Они тянулись очень медленно, и считать было трудно.

И вот ты приехал. Ты начал рассказывать о поездке:

— У нас сейчас жарко. А, знаешь, в Финляндии совсем не то. Там холоднее.

Ты рассказал о дожде в первые два дня соревнований, о тумане в третий день, о пронизывающем холодном ветре. О снеге. О том, как тебе скорее хотелось вернуться домой, чтобы... Ты, наверное, хотел сказать: «...чтобы увидеть тебя», но по

застенчивости сказал: «...чтобы насладиться нашим чудесным климатом».

Через месяц мы поженились. Когда дикторский голос из репродуктора начал: «Передаем сведения о погоде... Сегодня ночью...» — ты гладил мои волосы, руки, смотрел мне в глаза и восторженно шептал:

— Это восхитительно! На Урале такая же погода, как на юге Украины!

С тех пор прошло два года. Мы один раз были в театре и несколько раз в кино. Как-то я принесла домой «Золотого теленка». Ты посмотрел последнюю страницу и удивился, как это Остап не схватил насморка в днестровской воде.

— Кстати, дорогая, — добавил ты, — а сегодня в Белгороде-Днестровском плюс шестнадцать. Но вода, конечно, холоднее...

...Я научилась сама следить за погодой. Вот и сейчас я откладываю дневник — передают сводку... Ты слышишь? У нас двадцать восемь градусов по Цельсию... Душно!



Василий Маркович Нечунаев родился на Алтае, в деревне Кислухе Первомайского района, в 1939 году. Работал слесарем, лесорубом, служил в армии. Окончил литературный институт имени Горького.

Автор книги лирических стихов «Красная линия». Но сейчас пишет преимущественно для детей. Известна его книжка детских стихов «Небывалый самолет», готовится к изданию новая книжка для малышей.

Василий НЕЧУНАЕВ

СКАЗКА О ЗАВОДНОЙ ЛЯГУШКЕ

1

У меня была игрушка —
Пучеглазая лягушка.
Хоть неправдишной была:
Хоть не ела, не пила,
Не пила, не ела,
А скакать умела.



Скок-поскок да скок-поскок.
От стола да под порог.
От порога да к столу.
Вдруг присядет на полу.
И поглядывает, ждет,
Кто пружинку заведет.

Зарботает пружинка —
Вот и новая картинка:
От лягушки мчится кот.
Что за чудо, не поймет.

Эх, ты, глупый котофей!
Тимофеич Тимофей!
Брысь из книжки под кровать
И не смей перебивать!

2

Падала в окошко
Лунная дорожка,
Тень качалась на стене,
Сладкий сон пришел ко мне.
А лягушка-попрыгушка
(Вот игрушка так игрушка!)
Поднялась—и верь—не верь—
Потихоньку шмыг за дверь.
Шмыг за дверь,
стук-бряк с крылечка
(Чуть не лопнуло сердечко).
От крылечка за ворота
Поскакала на болото...



3

По болоту той порой
Плавал месяц расписной,
Вышли на берег лягушки,
Стали петь свои частушки:
«Ква-ква-кваканьки...»

— и вдруг

Услышали странный стук.
Заметались между кочек,
А вдогонку — голосочек:
«Не пугайтесь! Это я!
Я не цапля, не змея!»

Как из пуле-пулемета,
Зактоктокало болото:
«Кто ты, кто ты, кто такая?!»

— Я лягушка заводная.
У меня устали ножки
Бегать-прыгать понарошке,
Прыг да скок день изо дня...
Нет подружки у меня...
Не с кем в догоняшки
Поиграть бедняжке...
Словно лопнула струна,
Наступила тишина.

А потом по камышу:
«Шу-шу-шу-шу-шу-шу!»

А потом, потом, потом
Над болотом-болотом
Раздалось: «Ты вруша, вруша!
Никакая не лягуша!

8*

Заводных лягушек нет!
Не смей-ка белый свет!
Уходи, пока жива!
Ква-ква-ква-ква-ква-ква!!!»

Затряслась, как погремушка,
Помчалась домой лягушка,
И кричали ей вослед:
«Насмешила белый свет!».

4

А к лягушкам большеротым
Шла беда по-над болотом —
Цапля — белая, как мел:
«Кто будить меня посмел?!»
Как взялась работать клювом:
«Я сейчас поговорю вам,
Покажу вам что почем!»

...Только цапля ни при чем.
Ни при чем ни то, ни это,





Все, что было до рассвета,
Потому что, потому...
Не зовут Кузьмой Фому.
От мороза лед не тает,
Паровозы не летают,
А игрушки лишь во сне
Могут бегать при луне...

5

Утро красное настало,
В доме солнышко играло,
Прыгал зайчик на подушке,
Я проснулся и — к лягушке!

В догоняшки с ней играл,
На коняшке догонял,
Сделал ей на лапки
Золотые тапки.

Тут и сказка наша вся...

Умывали карася,
Приговаривали:
«Береги свои игрушки,
Помни сказку о лягушке,
Будь хорошим да гляди
На болото не ходи!»



Гравюра Б. ЛУПАЧЕВА к повести И. Кудинова «Федькин воз».



Гравюра В. ТУМАНОВА к роману А. Фадеева «Разгром».